
Елена КРЮКОВА

ДОЛИНА ЦАРЕЙ*

Фрески

Что ты наречемъ, Василіе преблаженне?
Наготою тѣла послѣдовалъ еси Христу,
мудрѣйшимъ юродствомъ прехитрилъ еси діавола,
сего связая пленицами слезъ твоихъ
и богатство нося въ души некрадомо,
вся Христова ученія дѣломъ исполнилъ еси.
И нынѣ на небесѣхъ ликуя,
непрестанно моли Христа Бога
спасти души наша.

*Мѣсяца Августа во 2-й день.
Служба святаго блаженнаго Василія,
Христа ради юродиваго, Московскаго чудотворца.
На стиховнѣ стихиры, гласъ осьмый, подобенъ.*

КОЛЯДКА

— Я спляшу вам мою жизнь, да она, глянь, кончается, держись, воском пламенным по свече сползает. Я сам горячий ветер, посреди разбитых створок перловиц, на сыром песке, стою, а ведь уже снег выпал, да что там, небесный потолок рухнул, и стеклянные осколки все, все наземь посыпались. Отломки. Прозрачные. Страшные. Режут ножами. Стекло, оно такое: морозом ожжет и надвое разрежет. И та половина, где твой рот и нос, будет орать, сквернословить и дышать. А нижняя, где срамное твое величие замирало, смешно и бесчестно, и подло предавало, и извергало боль и грязь, — молчать будет, вздрагивать будет, содрогаться. Ты обречен! Человека раздвигать нельзя. Вот он родился святым, а помрет разбойником? Так не бывает! А вот как бы-

Елена Николаевна Крюкова родилась в Самаре. Поэт, прозаик, культуролог. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России, Издательского совета Русской православной церкви. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010), премии журнала «Нева» (2012), Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» (2014, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023), международных литературных премий им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017), премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020), премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021), премии им. С. Сергеева-Ценского (2021), премии им. Б. Корнилова (2022), премии «Есть только музыка одна» (2021, 2022) и др. Публикуется в литературных журналах России и за рубежом (Франция, Германия, Болгария, США, Канада). Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

* Журнальный вариант.

вает: рожден разбойником, а погиб святым, святее некуда. Вы думаете, я всю жизнь мечтал быть распятым? Или саблями изрубленным? Или в петле повиснувшим, ногами суча? Ха! Да и не думал я так! И теперь не думаю! Не надо мне мученичества. Но кто же знает наш завтрашний день?

Я вижу, вижу тот день, белый горностаи, синий василек. Так ясно, чисто вижу. Я когда гляжу в прошлое, будто кто предо мною стекло грязное, закопченное мокрой тряпичей вытирает, и вижу все, что за стеклом, и вдруг р-р-раз! — и нет стекла, один воздух синий, толща времен, и дрожит, а я рыба, рыбка малая, костлявая, я в той воде свободно, вольно плыву. Зимний день! Зимка наша! В зиме, как в белом яйце — вся наша Русь. Иду по рынку! Людишки вчера торговали, сегодня торгуют, завтра будут торговать. А как бы мы жили без вечного торжища?! Что бы грызли, кусали, что бы пили жадно, поперхиваясь, плюясь, в кашле сотрясаясь?! Бочка вон перевернутая... рассол на снег вытек... на снегу и помидоры разбросаны: там, сям, — кровяно-алые, я-то давно не жрамши, вот бы на колени встать, морду во снег окунуть, к тем помидоринам протянуть — и завывать, и зубами вцепиться, и глотать наслажденно, забвенно... Но нет. Дальше иду, сквозь зубы свишу. На меня народец оглядывается. Взглядом то ожжет навроде плети, то припечатает, то обласкает, а то поцелует. Глазами, да, можно и обнять, и расцеловать. На то они и глаза; еще наши праотцы молвили про глазенки так: зеркало души. Зеркало!.. Дед мой, едва помню его, ко Господу отошел, когда я еще, карась малой, на животе да на карачках по избе плавал, бормотал так, смешно языком заплетая: зерькило, зерькалишко. Потом снимет с головы тяжелый железный колпак да в него глядится; гладкое железо, ровно озеро, дремучий лик отражает. А в книгах, ветхих и блаженных, на страницах, что под пальцами осыпаются высохшим сладким, изюмным печивом, начертано: ЗЕРЦАЛО. Меняется язык; то истлевает, то на костре сгорает и паленым воняет, то рождается в муках, продирается сквозь лозунги и проклятия, пробивает штыком и копьём кровавые плакаты, летит над новым, неведомым снегом.

Вот и я так же в тот день: по рынку не шел, а летел. Лечу, сквозь зубы свишу! Баба меня из-за прилавка увидела, прозрачная пленка, осыпанная снегом, у нее с товара сползла, с рыбоньки, в рядки разложенной, речной царицы глубоководной: пред бабою той сомы лежали, уже замерзлые, сазаны златые, осетры диковинные, остроносые, в костяных древних колючках. Издалека торговка, видать, в Москву примчалась, с Каспия, а может, с Енисея, а может, с реченьки Суры или еще с какого царского водоема. Один сазан с прилавка на хвост вскочил и в пляс пустился. И я ему на снегу вторю, подплясываю. Ноги вместе составил от холоду, вроде как раздвоенный рыбий хвост! И на хвосте, выходит, подскакиваю! А баба ручонками сытыми, красными пальцами-сосисками, закрыла лик, беззубый толстый холодец трясущийся, и вопит: уймите! Выкиньте отсюда бродягу непотребного! Что он тут творит, голый нахал! Не житье уже совсем от этих пьяниц! И то, требуют им беспременно подать! Сидят на снегу, ноги скрючив, брови домиком, щеки послюнявят, будто плакали давеча: подай, подай, попадешь в Рай, а кто не подаст, попадет прямиком во Ад! Ступай прочь!.. — завизжала, схватила стерлядку с лотка и машет ею на меня. Вон! Вон отсюда!

Все сазаны живенько, веселяся, с лотка у бабы попрыгали и улеглись сияющим живым, рыбьим венцом вокруг моих голых ног. Я глядел на безумную рыбу, баба орала на меня, а вокруг нас уже месила дышащее, парное зимнее месиво изрядная толпа, все колготились, бушевали, качались маятниками, я, голый бешеный царь, без имени-рода-племени, возвел на людей глаза, и вдруг за ними, далеко, на расстоянии птицы, над безбрежной водой летящей, аж башка моя закружилась, то ли во времени умершем, то ли в больном и хриплом грядущем, а может, и в празднике настоящем, я увидел.

Я узрел ее.

Рыбы, мертвяками лежащие на резучем снежке, встали, как во сне, и медленно, важно, дремно стали водить вокруг меня хороводы, и морская ли, речная влажная слизь капала с алых плавников, голубых ртов, медно-радужных, размеренно, обреченно дышащих жабр на прожженный золотом, грязью, сапогами и валенками военный снег. Почему убитая жизнь оживает? Можно ли оживить убиенного? Можно ли воскресить опочившего?

Аще яра зима, но сладок Рай, болезненно труждатися, но блаженно восприятие.

Я глядел поверх голов. Там, далеко, на краю видимого и слышимого света, на краю мною не прожитого времени, стояла женщина.

Изрезать бы зрачками широкую даль! Изувечить ее, искромсать, отбросить! Ненужным мусором в белой зимней топке — сжечь! И сократить между нами расстояние. Мы все передвигаемся в пространстве. Самолет над нами летит, белая железная, утлая утка. Вот-вот рухнет. Подобьет его кто с земли, взорвет ли кто изнутри — а людям уже все равно: исследуют, обследуют, наследуют, а на самом деле не верят ни во что и не знают ничего. Так, думают, целитель Время все залечит, все крепко забинтует. И рану не узрит никто. Не подкопаешься. Марля к лучезарной крови навеки присохнет. Отдерешь лишь с диким воплем: а-а-а-а-а!.. пощади!..

— Пощади, — вылепил я тихо холодными губами сквозь все волосяные зверьи заросли на лице моем, — узри меня.

Ветер взвил ее далекие спутанные волосы, мотал, крутил, и я с трудом различил: они густые, когда-то, века назад, были, верно, молодыми и золотыми, а нынче все исчерна-седые. Это не метельная белизна. Серый пепел. Голова сожжена горем, лютым приговором. Я знал каким, но сам себе не говорил — сам себя от внезапных, стыдных слез на ветру — берег.

Сам себе берег... сам себе оберег...

Обернулась. Все как я хотел. Намолил.

Я закрыл себе дрожащую нить рта голой ладонью, и под огненной кожей пополз стланик бороды, вспыхивала колкая дрожь усов, и мои стриженные, видать, в иной жизни власы хлестали меня по впалым коричневым щекам: я превратился в живую кору дуба, в слои и голые зимние струи переплетенных веток, в забытый птичий крик. Вон она, птица, парит высоко над рынком, над нашей судьбою.

Женщина с голой простоволосой головой, босая, стояла на дальнем берегу застыло, глядела на меня. Я только угадывал, что — на меня глядела.

Может, она глядела на птицу в небе.

Птица вмиг обратилась в зимнюю стрекозу и резко, стремительно стала падать вниз.

Я голову задрал, не отрывал от птицы глаз. Я весь перелился в зрение. Стрекоза падала. Стальная. Сумасшедшая. Ее кто опоил? Ее-то зачем подстрелили? Подранком не оставят: широкие прозрачные крыла распахнуты на пол-Мира, и застрелить пол-Мира — да как делать нечего, если оружие у тебя имеется.

А когда железная стрекоза уже приближалась к земле, ко всем нам, неслась на нас оголтело, я с ужасом понял: и не стрекоза, и не птица, а крылатый человек, крыльев полоумный размах, он все ближе, а весь рынок пьяные песни поет, кто видит летящего, а кто не видит, падай, мол, мужик, на здоровье, все видней и ярче его лицо и руки, и на крыльях горит его лицо, и живот горит лицом, лицо его везде и всюду, все его тело, что жестоко обнажает молчаливый ветер, горит слепыми и зрячими глазами, он сам — одно чудовищное Око, он видит телом, он видит ладонями, умоляюще повернутыми к равнодушному рыночному многолюдству, он глазами кричит, он глазами взывает, взывает, молится бесчисленными глазами; он многоочит, и я впервые вижу такое

чудо, я о таком только в книгах толстенных, обтянутых телячьей, бараньей и свиною кожей, читал.

От земных на Небесная помыслив и делом совершив, красная Мира сего во умыты вмел еси, Христа ради юрод быв на земли, терпением и жестоком подвизанием сын света показался еси и в Царствии Небеснем светло зриши Святую Троицу, преблаженне Василие.

А никто не увидит. А никто не заплачет!

Я плачу, я.

Стоял я и плакал.

А быть может, вот буду стоять я и плакать?

Времени не стало. Женщина, там, далеко, босая, на снегу, сделала шаг. Клянусь: она сделала шаг ко мне. И ветер утих. И сделала она шаг, и одним шагом перемахнула сугробы, церкви, визги, причитания, корзины, мешки, гробы, бомбы, пули, рыболовные сети, россыпи облепихи, копья, яды, царские палаты, больничные каморы, дикие горы и Время, что нас разделяло.

И оказались мы с нею, верьте не верьте, да мне вовсе и не нужно, чтобы вы верили, лицом к лицу. И — глаза в глаза.

Она схватила меня за руку, и я чуть не отдернул руку и чуть не завизжал от невозможной боли: будто руку сначала пучком огня, глумясь, ожгли, а потом топором отрубили. И кровяца хлестала неостановимо. Я глядел, как хлещет из меня кровь: живая, моя.

А простоволосую это ничуть не волновало. Она глядела на крылатого человека в камуфляже, что резко и страшно падал вниз. Моя кровь заливала наши ноги и снег вокруг, я косноязычным шепотом пел древнюю молитву, плел языком, заплетал мысли в косицу, плыл глазами ввысь и вбок, а наш брат, человек, летел к земле, чтобы в землю воткнуться, чтобы среди людей — не выжить, а там, в земле, жить, в земле — собой — навечную дыру выжечь.

— Давай поможем... поймаем...

Я вытянул вперед целую, счастливую руку, из отрубленной несчастной кисти хлестала неостановимая жизнь.

Она тут же, на глазах, становилась смертью и заливала снега, снега, льды, льды, предательски скользкий металлический наст, ледяные ромашки, розы, пионы и колокольчики, что, дрожа и звеня на морозе, расцветали у нас под ногами, затягивали инистым узором нам щиколотки, икры и ступни.

— Не надо, — вышептал нежный голос рядом со мной, вплеся перлами вьюги в мою кудлатую медвежью бороду. — Разве ты не узнал, кто это?

Крылатый не мог крыльями шевелить, они уже не махали, а только вздрагивали. Все быстрее катился живой камень с неба. Я уже хорошо мог разглядеть лицо. И когда я сполна, до мельчайшей черты, до самого малого алого плавника и медленно, тяжело воздымающихся жабр разглядел его, я вскрикнул, и огонь моего крика прожег золочеными пулями виски, лбы, черепа всех живых, что слонялись по рынку, покупали, ели, пили и пели, и все завопили вместе со мной ужасным эхом и рухнули в снег — кто на колени, кто на живот, кто навзничь, — ужас изловчился и обнял всех, сразу, разом, превратив в одну дрожь, в один стон, в один скрежет зубовный: это я сам летел с небес вниз, к земле, чтобы насмерть разбиться.

Я отразился в самом себе.

Я зеркалом своим стал.

«Ах, зеркало, зеркало проклятое», — невнятно шептал я, а может, это мое зеркало шептало мне, ставя на сердце моем клеймо неотомщенного зла.

Я сейчас разобьюсь, подумал я ненавидяще, и кого я ненавидел в тот миг, я бы не мог сказать. Неужели человек, переступая порог гибели, перестает мыслить? Чуть

чужое дыхание? Наслаждаться любовью и едой? Я был голоден, я хотел жить, а мне поднесли на зимнем блюде смерть. Настоящую. Не прошлую, не будущую. Я емь здесь, и я сейчас, и кто мне руку отрубил, и кто в камуфляж нарядил? Где Мирь? И кто эта змийная босоножка, зачем она? Я знал ее раньше. Я просто имя забыл.

Я подлетал к земле, голый, и я нагишом стоял на земле, задрал башку, повторяя распяленным ртом разинутый в крике рот еще там, в синеве, летящего меня.

Я хотел выкрикнуть: как твое имя, родная?! — но земля слишком быстро, хитро выгнувшись самым жестким своим, ледяным боком, коварно легла под меня, и я сначала ударился о нее, потом, дрогнув всем длинным нагим телом, вошел в нее, она раздвинулась, как бабьи белые, холодные ноги, и вместе с ней разошлись в стороны черви и личинки, кроты и ласточки, пчелы и корни, кости и хитиновые панцири, обломки мрамора и распилы колонн, расколотые в дыму злобы иконы и навек засохшие в мисках краски, яйца динозавров, угольные пласты, скрученные в медный нервный ком струны — скрипки ли, рояля, сиротской бродячей гитары, — расселись могилы, восстали гробы, полетели, клубясь и кувыркаясь, Херувимы, Серафимы и Архангелы, полетели чирки и вьюрки, воробьи и голуби, колибри и павлины, а земля подо мной разымалась все глубже, все бесповоротней, разламывалась влажной гигантской ковригой, и внутри земли верещала погибель, стонали разрушения, метались катастрофы, и из самой глубины, из беспросветной тьмы, куда никто и никогда не заглядывал, ни Бог, ни даже диавол, поднялась последняя, самая неисходная беда, страшнейшая людская придумка: на ней люди жили, на ней ели и пили, и да, на ней пели и танцевали, друг друга целовали, — а как зовется она, я, в землю по горло, по макушку вошедший, уже хорошо знал, я вспомнил имя.

В землю я воткнулся один. Один я летел под землей. С изумлением понял: в земле тоже можно лететь, как над землей, никакой разницы. Расседалась под моим пылающим телом черная земная лава. Ширилась трещина. Я чуял, что трескаюсь сам, как переспелый плод, из меня кровью вытекает сок, жизнь, сон.

А она там! Там, на земле! На снегу!

Поверх моего конца!

Оборвался...

Что остановилось? Куда обернулось? Как застыл гудящий, скрипящий остов? Я разрезал нагими телесами землю надвое, как пирог. Я выскользнул из нее, вышел с другой стороны бытия. Две половинки горячего хлеба разорвались. Я летел среди звезд. Рядом со мной радостно летела эта, босая.

— Как твое имя?..

— Узнаешь в свой черед.

Мешковина ее нелепого, нищего платья развевалась, затмевая иглы звезд, я хотел читать звездные письма, но не смог, передо мною все время моталось в прогалах угольной густоты ее светящееся лицо. Я опустил глаза. Кто забинтовал мою культю? Кто успел? Или это я сам успел? Куда, Господи, я успел? Напрасно я здесь? Или нет? И как зовут меня, меня? А надо ли, чтобы все на свете имело имя? Может, без имени легче, проще... светлее?

— Ты...

Она беззвучно рассмеялась и закрыла мне рот холодной, межзвездной ладонью.

— А мы живы?!

— Не спрашивай, узнаешь — душа сгорит.

— Я мыслю, значит, я не умер!

Она, летя, схватила меня за обмотанную бинтами руку.

— Да ведь и я не умерла. Хоть я с тобой вместе летела. И вместе с тобой разбилась.

- Что же? Мы ожили?
 — Да мы, Василий, и не умирали. <...>

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. МЕДВЕЖИЙ СОН

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

- Эй! Василия убили!

Он падал, ему почудилось, слишком уж долго, чужой крик вонзился не в уши — в небо, что громадными злыми крыльями распахнулось за его спиной. <...> Смерть поразила его и вышла навывлет, и он еще успел подумать — как же так, я ей не понравился, она покинула меня, вырвалась из меня, — и он падал, падал странно, летяще, раскинув руки, повторяя размах крыльев за сведенными судорогой лопатками.

Сбоку, впереди, сзади, сверху и снизу кричали. Крик разросся и превратился в шар, покатился по полю. Поле давно взрыли, вскопали разрывами, расстреляли, пригвоздили к подземной тьме. Мысль сверкнула древней молнией: вот и теперь стану землей. Землей станут все, ответил на вспышку неведомый грозный голос: извне или изнутри, он не понял. Лететь вниз можно так же медленно и бесповоротно, как и вверх. Вверх-то он летал, и летывал частенько, и совершенно не боялся беспредельного взмывания над смертным жалким Миромъ: полет ему был сужден, он это знал с рождения. Что есть рождение? Рождество? Рождество Твое, Христе Божие... Он, летя вниз, в землю, вспомнил веселую колядку, он же сам ее и певал, бегая с ребятишками босиком по снежку, режущему ступни-пятки острыми рыбацкими ножами; мазанки белыми вареными яйцами блестели в чистой, искрящейся тьме, алмазы в сугробах было хоть собирай — девчонкам в подол, мальчонкам в ушанки, — и, несясь по колючему яростному снегу босыми ножонками, в подвернутых портках, в накинутаой на домотканую рубаху шубейке, зыркая глазенками на долыса обритых пацанов и девчонок сопливых, носы кулаками утирающих, он вдруг понял: да нет, не на поле боя его убили, это он летит там, высоко, под звездами, в железном бочонке, самолетом прозываемом, и стрела Божия в бок самолета воткнулась, так втыкается на осенней охоте пуля в жирную утку, утка жить хочет, а вот ее убили, и надо понять, мальчонка ты глупый, ничемный, — всех убивают, все неуютны, все убитые становятся святыми.

Не стоять тебе на столпе! Не упираться усталыми подошвами, шершавей наждака, в ледяной красный кирпич либо в древняный сырой настил! Не столпник ты! Ты — летящий в небесах нахал, наглец, жестокий воин и полетишь теперь внутри земли! И оттуда ничей голос не донесется, и твой тоже! Забудь про голос! Он — не слышен! Сцепи зубы! Стисни губы! Пусть кровь нутром хлещет! Заливает тебе печень, кишки, селезенку, жадные до жизни потроха! Всех взорвали! И тебя тоже! Не уберется! Не спрятался в нору! А еще хрипишь колядки! А в рот тебе вползает глина! Втыкаются белесыми щупальцами коренья! Вкатываются угли, железяки, личинки, черви! Последняя жизнь в тебя земляной кулак сует, да прямо в зубы!

И выплевывая землю в ее подставленную тебе под подбородок глубокую черную чашу, ты все равно пел, хрипел, сопел, выталкивал из себя самое первое, самое кровавое, кровавей пуповины, то, с чем ты появился на свет.

*...Коляда, коляда!
 Наступили холода!
 Святки ныне, Святки —
 Звездные колядки!*

*Мы-то звездочки с небес!
На поляну пали, в лес!
Прикатились к избе —
Песня Богу на губе!*

Паук, ткач зловредный, крестом на спине пугающий, откатись. Я не твой! Не твой!
Паук, а ты в земле ютишься, в траве ползешь или на крыше звезды ледяные наблюдаешь?!

Паук, ты хрип. Ты земной оси скрип. Нет. Отзынь. Скрючься и сгни. В пепел. Это я земная ось. Меня воткнули сухим мертвым посохом в мою землю родную, а я расцвел деревом. И шумлю на ветру! И падаю, падаю!

*...Громко, звонко мы поем,
К вам любовь-любовь зовем!
Дай колбаски, пирожка —
Жизнь мала, а не долга!*

Ты понял, насекомое, мала, а не долга. Ой нет! Ошибся я! Долга, а не мала! <...> И все не зря... Слышишь, паучина! Не зря!

*...Вы живите много лет,
Смерти не было и нет!
Не помрете никогда!
Коляда... коляда...*

...Еще никто из живых, живущих, падая в смерть, не удосужился распевать зимние колядки. Во весь голос. Во весь предсмертный хрип. Земля — самолет. Его подстрелили. Прострелили. Что делается со зрячим сердцем, коли оно узрит непоправимое? Я хочу все, все поправить! Чтобы никто и никогда не смел нас унижить, расколошматить в пух, вспороть ножом изошренной, жгучей лжи?! А еще за то, чтобы мы — не стали — железными! Чтобы мы — машинами — не стали! Чтобы не звякали наши сочленения, винты-болты, шурупы и шестеренки! Чтобы мы, раненые, шаг вперед — а за нами — полоса крови живой, струящейся! А не струя вонючего машинного масла!

...Я не масло для танка. Я не шуруп. Я человек. Я человек.

Пока еще — человек.

Пока — это значит навсегда.

У меня уже нет времени вам, люди, толпа моя возлюбленная, все объяснять. Некогда молиться, и чтобы вы за мной вечные слова повторяли. Слово теперь для вас ничто. Ничто и жизнь. Да, жизнь превратилась в ничто. В пустоту.

Нутро разворочено взрывами, болью, безумием.

Валюсь в пустоту. Ноги задраны выше головы. Падаю. Падаю!

*...Не помрете никогда!..
Коляда... коляда...*

Да. Никогда. Яростно-точное слово, безумное, теплое, жарко шевелящееся за пазухой, никогда не мое, навсегда мое. Я с ним ухожу, ввинчиваюсь в землю. Под красными башнями, алыми звездами, алыми снегами, киноварными крестами. Видите?! Видите?! Храм мой красный! Храм Покрова! Отсюда, из-под земли, видать едва! Там

звонят. Надо мной?! Я не просил панихиды! Я еще поживу! Я и в земле буду жить! Я всех обману! Я убит, но я не умер! Вот что самое дивное! Для вас — загадка! Для меня — глоток смеха!

...Не помрете никогда...

Кто из вас помнит свое начало?!

А разве есть начало и конец?!

Разве все не крутится бесконечной, горячей радужкой Всевидящего Ока, то угольной, то чисто-небесной, и разве не все вы отражаетесь в Оке Зеркальном, и разве вы не видите, любимые люди, что скоро вы все помрете, да зачем тогда вот это все, все, что вы творите, все, над чем вы рыдаете, все, во что вы верите?! Око! Смотрите в него! Оно видит все! И то, чего нет и не будет никогда!

...Он родился, обычный ребенок, от обычной бабы, и никто не знал никогда его отца.

Он прекрасно помнил мать, он и отца помнил. Но никому никогда об отце не говорил.

И то правда, никогда не говори никому о тех, от кого ты на свет появился.

Его мать была сельской лекаркой, тихой знахаркой; в горах затеряны деревянные матрешки — избы родного сельца, крыши крыты соломой, у изб мохнатые башки, иной раз мимо окон протрусит волк, шерсть у него желто-серая, а крохотные зенки под скошенным лбом серо-желтые, золотые: волк поглядит — и ты нечеловеком миг станешь.

Зимой наметало сугробы до неба. Мать ведала много, да больше молчала. Он еще до рождения помнил ее молчаливой, собирающей целебные дикие травы в луговинах, заросших лиловым багульником, и на склонах крутояров. Тайга раскидывалась рыжей шкурой, медвежьей. Да, волки там таились, лисы шныряли, иногда мальчонка Василий, шально, один, отколовшись от матери, любопытствуя, забредая в тайгу, зрел барсука. Барсук жил в громадной норе под старухой сосной, крутосклон осыпался опасным обвалом, дерево изо всех силенок цеплялось нагими корнями за красную влажную землю. Глина, пропитанная кровью. Земля всегда исторгала из его глаз слезы, что во младенчестве, что в зрелых волчиных годах, и он шептал себе: глупо плакать над землей, ведь она обнимет тебя однажды. Брусника, капли ее кровушки среди сплетения листьев и стеблей. Темно-синяя грозная жимолость, куст клонится под ее сладкой, чугунно-грозовой, княжьей тяжестью. Облепиха, пылко, жадно обнимающая раскидистые ветки, она ловко прячется среди узкой серебристой листвы, чтобы ее не сорвали, не сожрали звери и люди. Медведь любит ягоды, он тоже человек. Мать называла медведя ласково: медведко, волка так: волченька, и все звери таежные у нее звучали колокольчиковой, гвоздичной музыкой: волченька, лисонька, барсучишко. А к тайге мать обращалась так: вставала на колени, протягивала сильные красивые руки к чащобе и говорила-пела, закрыв лунными веками очеса: лесушко бажонный, дай мне зверя поразить на пропитание родному сыночку моему! Таеженька бажонная, дай ягодки в туес, дай водицы из реченьки! Дай черемши пучок, дай медка дикого, диковинного из дупла, а вы, пчелоньки, не кусайтесь! И пчелы разлетались перед матерью веером, и зачерпывала она песочно-медный, густейший мед из дубового дупла, он небесным златом лился на землю, струился золотной тонкой нитью; и низко наклонялась она, собирая остро-пахучую черемшу цвета болотины, и долго стояла в чаще с прижатой к плечу винтовкой образца Первой мировой войны, старательно и страдално сторожила зверя; и вот зверь выходил, показывал страшную морду свою, нельзя было глядеть в глаза зверю, его сородичем тогда беспременно станешь, но мать глядела.

И Василий учился глядеть тоже.

Он глядел и уже рожденный, у него, живого, ведь торчали глаза подо лбом, глядел и нерожденный, и это было страшнее всего. Тела не было. Рук-ног не было. Разума под твердым костяным черепом не было, а он уже жил, глядел, любил.

Он рассматривал будущую мать сверху, слева и справа, снизу и сбоку, он видел ее сразу, всюду, и сразу наблюдал все ее времена, в коих она жила. Так он до жизни учился познавать жизнь. Он понял: жизни нельзя приказать явиться, и жизнь нельзя оборвать.

Однажды его мать нашла близ угольно-жуткой, дышащей мощью Ада барсучьей норы дощечку. С доски на мать, на тайгу глядел нежный лик. Мать запрягала доску за пазуху и медленно шла сквозь лес, сама себе казалась горячей шелковой нитью цвета спящего жарка, тянулась бесконечно, скитально через распадки, овраги и увалы. Придя домой, мать огляделась. Как тепло, чисто в доме! Две толстенные, с коровию крепкую ногу, свечи стерегли раскрытую на любимой странице Книгу Жизни. В Книге написано все, что люди знали, и все, чего не знали, а Бог знал. Богов в тайге летало множество, а в Книге царил Бог один, да тысяча лиц сияло у Него, отовсюду Он глядел: отверни камень — Он там, погрузи сеть в ледяную реку — Он забьется в сети. На ржавой плахе подпечка стоял медный чайник, мать нашла его на речной отмели, рыбаки тут жгли костер, воду кипятили, чай хлебали и чайник позабыли. Где тех рыбаков теперь сыскать? Мать, когда в чайнике булькал и парил кипятков, молилась за рыбаков. Она молилась странными, забытыми, корявыми словами.

Праздники на селе играли замысловато, радужно. Обряжали друг друга в венцы из трав и колосьев, в поневы длиннее годового круга, обворачивали плечи волчьими жесткими, железными шкурами. Сельчане прикидывались больными, напяливали белые рубахи; белизна родильных пелен, белизна свадебной ткани, белизна смертного савана. А кто одевался Звездным Жителем, брал в руки красные цветы — маки, жарки, полевые гвоздики, — осыпал нарочно-болящего теми цветами, обливал живою водой из стеклянной четверти. Вопил оглушительно: «Вста-а-а-ань!» И якобы мертвый вставал, широко распахивал глаза, улыбался робко, обнажая зубы, а как беззубый. Вокруг на земле сидели девки и громко, взхлеб пели: ай, жизня! ай, любовь! породися вновь да вновь! Ай, судьба! Ай, краса! Небеса, небеса!

Старики курили. Звездные Жители смеялись звонко, будто зимние алмазы размашисто рассыпали. Костры горели сильно, мощно, наваливалась медвежьей тушей ночь, забивала черной шерстью глотки, глаза, занавешивала лица. Про Бога, учившего про любовь, знали-помнили все, да старики сквозь дым, прикрывая морщинистые воспаленные веки, хрипели: помни про Великое Небо. И про Великую Землю.

Мать Василия помнила свое имя, да часто забывала. Она рано начала терять словесную память, зато память извилисто льющейся внутри, по ее потрохам, крови все разгоралась, причиняя ей боль, особенно ночами. Иногда кровь начинала в ней бормотать, пророчить. Мать Василия научилась читать письма крови без слов. Кровь подавала ей знаки. Однажды женщина раскрыла рот и назвала себя по имени, а ей почудилось, не голос, а рык зверя окликнул ее. Марина, выдавила она из натужной глотки, Марина, она пыталась вспомнить, какая же далекая, заоблачная святая, из тех, что рисовали на еловых досках и выцарапывали на бересте, это имя носила. И эхом ей повторило дальнейшее лесное рычание: Ма... ри... на... — и она закрыла уши руками и сидела так долго, не отнимая рук.

Женщина предназначена родить. Она не хотела идти в лес. Грани стакана горели, просили ягод. Жимолость, брусника! Туес валился с лавки. Корзины зазывно выставляли плетеные бока. Солнце высоко горело, оранжевым глазом сбитого масла,

в сметанно-белом небе, и тайга под лучами стелилась колючей, жесткой рыжей шкурой. Марина подхватила туес, туго подпоясалась, дунула на бесконечно горящие у толстой старой Книги витые свечи, наложила на себя крест, улыбнулась и шагнула через порог. «Не ходи, не ходи!» — кто-то тихо шептал в ней, словно бы говорящий робкий барсучонок, полосатый старомудрый бурундук. Она вошла в тайгу и шла по тропинке, ее протоптали сельчане. Ей было страшно и прекрасно. Никогда еще ей так страшно не было в тайге.

Она ступила ногою в лапотьке на поляну, румяную от избыточной брусники. Сначала нагнулась и собирала нагнувшись, потом присела на корточки. Сзади послышался громкий хруст. Сломалась ветка крупная, сухая. Марина обернулась. Из-за лиственницы вышел мохнатый, черный, огромный человек. Марина два-три долгих мига спустя догадалась: медведь.

Она хотела бежать, да ноги налились железом. Приварились к теплему, травному колену земли. Не надо! — хотела крикнуть, да ветер закрыл ей уста теплой липкой, брусничной ладонью. Значит, смерть моя явилась, молча сказала она себе, понимая, что вот они, ее последние слова на Великой Земле. Медведь вперевалку, в рост, тяжело ступая на примятую траву могучими, как гроззовые облака, задними лапами, шел к ней, неуклонно, неостановимо. Подойдя близко, он выше вздел передние лапы, и Марина увидела слишком близко от себя блестящие на солнце, длинные, как жизнь, угольно-черные когти. Сейчас лапой играючи махнет и кожу мне с башки разом сдерет, думала она, а мысли дымно рвались, слова кровили и разлетались красными брызгами, раздавленная брусника стекала по щекам, по белым плечам, они заголялись, торчали из измятой ткани, колени подкашивались, гроза надвигалась, ее уже ничто в мире не могло остановить. Она не запомнила, падала она на живот, на бок или на спину перед зверем, а он на глазах превращался в дикого человека, мохнатого, бродячего, неприкаянного, злого, нежного, убивающего, умирающего, воскресающего. Когда Марина упала, он одной лапой легко, будто она была пушинка, перевернул ее с живота на бок, с бока на спину, и вставши на все четыре лапы, наклонился над ней, уставился на нее, глядел долго маленькими, широко расставленными, красными ягодами-глазами, и когда кудлатый лик придвигался ближе, все ближе, ее закинутое лицо опахло из пасти невыносимым жаром, словно бы чрево земли разъялось, и оттуда вырвался сноп горячего, довременного воздуха, тверже охотничьей ладони, страшнее пули, впившейся в живую, взорванную болью мясную мякоть.

Время сжалось в кулак, в смешной, полный воздуха и пустоты гриб-дождевик. Время лопнуло, на его месте оказалось ничто, сладкое, как древняя синяя жимолость. Лапы черного огромного медведя укрыли ее звездной траурной парчой, струящимся крепком, таким в избах бабы при покойнике, во гробе лежащем, закрывают тусклые, с шелушащейся амальгамой, родовые зеркала.

Тайга смешала заполошным варевом день и ночь. Прямо в центре необъятной ночи Марина разлепила глаза и губы. Перед ней лежал медведь. Спина его возвышалась тяжелым угольным холмом. Лапы он сложил кольцом, сквозь них можно было пролезть и уползти в мохнатую горячую, душную нору, под его земляной, зимний живот. Лето ли, осень, зима? Все бурлило, клокотало. Времена радугой вставали-изгибались пред румяным потным лицом Марины и падали в дышащий пьяной черемшой овраг, за ее спину. Тело ее свело длинной судорогой; она боялась превратиться в железную стрекозу со слюдяными крыльями, и взмыть в холод и звезды, и навек улететь отсюда.

Марина неслышно положила тяжелую руку на теплый бок зверя, осторожно вpleла пальцы в ночную шерсть. Медведь не охнул, не застонал, не вздрогнул. Он слишком крепко спал. Труд жизни придавил его многоочитым небесным грузом. <...>

УБИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

<...> Василий уже научился ходить. Малютка, он бегал по всей избе в короткой рубашонке, Марина криво, на руках подрубала их красной ниткой, купленной у коробейника за грош. Василий любил сидеть у ног матери, когда она ему мастерила игрушку — из сладко блестящих надкрылий толстого изумрудного жука, из чудовищной кедровой шишки, величиной с добрую тыкву. Мать катала его по селцу в санях, сама же их сколотила из лиственничных дощечек, сама же и раскрасила соком конского щавеля, ежевики и брусники, меловой мукой, красной и голубой глиной с берегов бурливой ближней речки. Василий заходился в смехе и от смеха вываливался из радужных санок, мать подсакивала и вылавливала его из искристого жгучего сугроба, как осетра из-под льда! И он хохотал у нее на руках! А она расцеловывала его в румяные щеки, и в подбородок, и в заолодавший на морозе лоб и смеялась сама: «Ах ты, ванька-станька мой!.. Держись крепче!.. А я тебя не покину!.. Так домчимся до Рая!.. До Рая!..»

Василий вечерами, когда мать укладывала его спать, обнимал ее ручонками за потную сильную шею и тихо спрашивал: «Мама, а что такое Рай?» Марина медленно, ласково расцепляла руки сына, нежно толкала его ладонями в грудь под холстом рубашки, он падал спиной на мягкость ночного ложа — мать сварганила ему царскую постель из деревянного корыта; дно корыта завалила душистым шуршащим сеном, выстелила беличьими и заячьими шкурами, сверху укрыла домотканой рогожкой, наволочку набила нежнейшей, кружевной шерстью ягнят, и так получилась чудесная ладья для еженощного путешествия по снам и видениям. «Рай — это, сыночек, такая небесная земля». Василий вздыхал прерывисто. «А разве бывает земля на небе?» Мать улыбалась тонко, цветочно. «Бывает. Или не бывает. Раю это все равно. Если даже и не бывает, Рай все равно есть». Василий соглашался с этой ночной песней.

Он просил ее: «Расскажи про Рай. Ты бывала там?» Марина опускала голову, и подбородок ее касался яремной ямки. «Конечно. Всяк человек там бывает. Только не помнит, что он там был. А я помню. Рай красивый. Там всюду яблоки, ягоды, яхонты. Ярость зверя там превращается в тихую ласку, в умильное урчанье. Перловицы раскрываются сами, приглашая взять у них из их тайны, прямо из брюха великие жемчуга. Снег там идет теплый! Даже жаркий! Я там шла босиком по ковру, а ковер тот был сложен из живых барсов и диких котов, они разлеглись на земле, обнажили пушистые животы, и я, босая, осторожно, легко так по тем диким кошкам ступала, и они блестяли, сверкали туманными от ласки и медовыми от любви глазами, и обнажали в улыбках острые зубы, покусывали меня за лодыжки, терлись мне об икры лбами и мохнатыми щеками... Красота сама шла мне в руки! Рай, сынок, — это такое солнце с небес, бьет в грудь, в лоб, и жарко... и томно, и вольно... поднимешь глаза, а солнце-то белым гвоздем в ночное, угольное небо вбито! Испускает светые острые, танцует и крестит тебя широкими лучами! А всюду мандарины, лимоны золотые, яблочки прячутся в темно-зеленой листве, маслено листья блестят, плоды ветки гнут... любой срывай... ведь это Рай... А навстречу мне самой из райских кушей выхожу — я сама... я... мать твою...»

Василий слушал бормотание Марины над изголовьем и тихо, незаметно засыпал. Земной сон, это было то, о чем говорить не надо было, а только ждать, звать и предчувствовать.

Во сне мальчишке являлись звери и птицы, они спускались к нему прямо из Рая на невидимых, быстро трепещущих крыльях. Однажды прилетела птица с головою юной девушки. Дева-Птица раскрыла рот и запела Василию колыбельную. Она пела лучше, чем мать, и мальчонка протянул к ней спящие руки и выдохнул: люблю тебя, родненькая, ты моя молния, еще ударь!.. еще спой!.. Дева-Птица держала в когтях

два сияющих яблока. От них исходил медвяный и мятный дух. Одно яблоко вывалилось из дрожащих когтей, укатилось под лавку. Утром Василий, проснувшись, яблоко нашел и съел. Сладкий сок тек по губам, по шее, по ключицам.

Однажды мать, гуляя с Василием по сельскому звонкому рынку, остановилась, замерла около охотника, что на вытянутых руках держал шкурки соболей, горностаев и куниц и тряс ими, зазывая, завлекая. Марина во все широкие коровьи глаза глядела на прокуренное, темно-медовое, деревянно-твердое лицо охотника, на искристые шкурки с белым и охристым исподом мездры, примечала: руки трясутся, и шкурки ходят ходуном, сейчас сорвутся, упадут в синий снег, звери оживут и бросятся врассыпную. Она зажмурилась и крикнула охотнику: «Продай! На шубу сыночку!» Торговец назвал страшную цену. Марина прижала ладонь ко рту. Отшатнулась. Оттащила Василия, лучезарно и жадно глядящего на раскосого зверолова. Придя домой, тихо и жестко сказала сыну: «Двинемся с тобой на охоту, сами, в тайгу. Санки возьмем, винтовку, нож захватим!»

И Марина вскинула винтовку на плечо, обула катанки с обшитыми кожей пятками, засунула кривой охотничий нож за голенище, Василий обмотал руку ремешком, приделанным к расписным крошечным розвальням, и они побрели по узкой тропе, проложенной редкими людьми в диком снегу, сначала к реке, потом медленно, в сугробах увязая, шли вдоль реки, потом углубились в чащобу, где кедры в синей зимней вышине целовались с кедрами, где сосны плакали на груди у красноствольных сосен.

Как, когда выскочили мохнатые коричневые комья из-за сугробного стога, из белой ямины буерака? Три медвежонка раскатились по снежной таежной скатерти. Застыла Марина, винтовку опустила. Мальчик поднял руку, заслоняясь, как от солнца, от огромности зверя: на горе, на грех из берлоги выпросталась на волюшку алмазную необъятная медведица, хранящая внутри себя, в гулкой груди, под лохмами ребер и обвислого брюха, память о родах, о том, как детки ее появлялись на колкий лютый свет. Медведица увидела женщину и мальчика. Откуда силы взяла, чтобы, шатаясь, подняться на задние лапы — и пойти, пойти, высоко подъяв передние, грудью, болотным черевом, всеми когтями, жарко разинутой бешеной пастью, всей грозой-жизнью лесной на жалких, бесстыдных людишек?

Марина поняла: надо стрелять. Выстрелила. Мимо! Пуля ушла мимо, как и вовсе не бывала. Василий не шевелился. Он обратился в пень. Важно было выждать, прикинуться лапником тяжким, веткой обледелой. Стать всею природой, зимне обнимающей его и мать. Вот зверь; и он вышел навстречу им; и сейчас он на них нападет и их пожрет. А если они — зверя — убьют?

«Не убивай, мама!» — хотел он взопить, но ужасом воли загнал, затолкал крик внутрь, в пряжу кишок. И он знал: мать сейчас зверицу убьет. У нее просто нет другого выхода.

Я впервые видел смерть так близко. Марина выстрелила еще раз, и опять мимо! Она до крови закусила губу, я видел, как кровь медленно и темно ползет у нее по ледяному подбородку. Не убежать. Слишком вязкий снег.

— Беги!

Мать крикнула громко, так громко, что я на миг оглох. Она меня спасала. Я враз стал взрослым и всевидящим. Смерть дает тебе второе зрение; она дарит тебе горькую древность земли и владение Временем. Я тогда это не до конца понял, зато сильно и страшно почувал. Но я не стал убежать. Ноги мои стали железными поленьями. Лицо стало перевернутым рыбачьим котлом. В него можно было бить молотком, как в бубен или набат. Медведица, вопя, неотвратимой тучей надвигалась на мать. Марина выхватила нож из-за голенища. Выставила его перед собою лезвием вверх.

— Надо было, дуре, к древку привязать... копыце сладить...

Дальше я не разобрал, что она бормотала.

Два, три шага, и вот медведиха рядом с матерью, и незаметный, быстрый взмах лапой, и вот уже мать кричит, обливаясь кровью: медведица распоролла ей когтями щеку, шею и плечо, легко и хищно стащив с головы шаль, разорвав овечий тулуп и ткань платья под ним. Мать моя, с голой красной, разодранной грудью, заорала медведицы страшней и сама, в крови, двинулась на нее. Зверица выкатила красные глаза и застыла. И тогда мать обеими руками вцепилась в рукоять ножа и, хакнув, резко и глубоко всадила кривое лезвие в шерсть, в плоть, в космы, под ребра, во тьму.

Во звездную тьму зверьей жизни, неведомой человеку.

Мать знала, куда целить: она попала медведице в сердце.

Нам не понять сердце человека, а зачем нам помышлять о сердце зверя? Красный, толкающий кровь комок! Он бьется и бьется! Я зрел, как зверь умирал. Медведица еще чуть постояла на залитом кровью, утоптанном ее лапами и материными катанками снегу, потом пошатнулась и стала, как во сне, оседать в снег, ее задние лапы подломились, она рухнула на четвереньки, упала на бок, дрыгала всеми четырьмя лапами, а я бы поклялся — ногами и руками, так жутко, предсмертно она была похожа сейчас на человека.

Я не уследил миг ее смерти.

— Счастье, что в сердце... счастье, что сразу...

Мать, заливаясь кровью, села в снег около рухнувшей черной, шерстяной горы. Гладила ее по мертвому затылку, по загривку.

— Сынок... давай мне кровушку остановим... перевяжем...

На морозе я сбросил с себя шубенку, стащил меховую душегрею, потом нательную рубашку, одною ногой наступил на полу, двумя руками вцепился в холстину и потянул на себя. Крепкий холст не поддавался, не рвался. Марина, дрожа руками и окровавленной головой, выдернула у меня из рук рубашонку и зубами и сильными пальцами порвала ее на длинные полоски. Я перевязал матери щеку и шею. Она отсиделась, отдышалась, встала, выдернула нож из тела медведицы. Я отвернулся, не смотрел, как Марина свежует зверя. Потом она полезла за пазуху и вытащила из-за пояса маленький острый топор. И не глядел я, как мать топором рубит дымящееся на морозе мясо.

А когда я насмелился и посмотрел Марине в лицо, я увидел, что оно все залито слезами.

Слезы мешались с кровью, и стекали вниз, и таяли в шерсти тулупа, и скатывались на кровяной снег. Я понял, почему мать плачет.

— Мама! Они тоже умрут?

Я показал рукой на маленьких медведей, отчаянно раскатившихся по снегу черными шарами. Марина, прикусив губу, молча помотала головой: нет, нет, нет.

— Нет! Мы возьмем их с собой! В сельцо!

— А как мы их поймаем? Убежали они!

— Далеко не уйдут! Рядом берлога!

Марина накладывала красное темное мясо на мои санки и крепко приторачивала куски к сиденью и деревянной спинке пеньковой веревкой. Потом мы ловили медвежат. Приманить их нечем было, не захватили мы в тайгу ни кусочка сотового меда из погреба, ни жимолостевой ягоды из вареньевой банки, ни застывших на морозе круглыми колесами и жерновами сладких сливок. Мы гонялись за ними просто так, набрасывали на них мешок, я пронзительно кричал: мама, а вдруг они кусаются и мне руку насквозь прокусят! — а мать, слабая от потери крови, падала на снег, и ползла по снегу, пятная кровью белизну, и смеялась сквозь нищие слезы, и вопила, и моли-

лась шепотом, и крепко, любовно обхватывала руками зверька, залавливая его, к себе прижимая, целуя кровавыми губами в нос, в мохнатые уши, зарываясь соленым лицом в спутанную, унизанную сосульками волглую, пахучую шерсть.

Марина потащила домой медвежат в мешке, а меня оставила сидеть близ санок, сторожить разрубленную на много кусков медведицу. Останки зверицы валялись поодаль, в снегу. Смеркалось. Снега светились в пугающе-синих сумерках княжеским перламутром. Матери не было долго. Целую жизнь. Я прожил жизнь, пока ее не было, и заснул на морозе, и замерз, и умер, и опять родился. Когда я родился, я мать мою увидел. Она, качаясь, шла ко мне в снегу. Шла по снегу. Шла поверх снега. Я не понимал, что она мне снится. Что может понять новорожденный? Я только что видел Ад, там убивали зверя, живого, красивого, мать маленьких детей мохнатых, там лилась на снег кровь моей родимой матери, и я болел ее болью, я кричал ее криком, и это ее, ее слезы текли по моим щекам в морозных Адовых приделах. И я так помнил Рай! Мой Рай! Я же родился, чтобы идти и идти в Рай, все в Рай и в Рай! И боле никуда! Назначено мне так! А кем, и не знаю!

И я, и я Рай мой тоже выучил на память! Все там знал! Там вода играла жидким яхонтом под глинистым красным обрывом; там полосатые рыбы-вьюны, если их выдернуть из воды, могут жить в избе в глиняном горшке, и можно низко опускать лицо над горшком и годами напролет следить, как туда-сюда ходит-плавает твоя живая мечта; там молоко ли, сливки застывают золотыми и серебряными слитками, и чтобы они растаяли, надо посадить их в печь в черном, как ночь, чугуне; там две толстых, закрученных змеиной спиралью свечи горят под иконой, как два рыбацких далеких костра на полночном берегу; там коровы поутру мощною ребрастою, рогатой рекою переходят вброд голодное Время и входят во врата разнотравных лугов, сияющих красными жарками опушек. Мой Рай был смел и робок, он гладил меня по плечу, он подсовывал мне под ноги широкие лесные лыжи, похожие на разделочные доски — одна у нас в избе хранилась для лепки пельменей, другая, чтобы мелко и весело острым тесаком резать черемшу; Рай пел мне песни на сон грядущий и поутру — то голосом матери моей, то множеством птичьих дробных голосов, они речными перлами рассыпались вдоль и поперек по восстающей каждое утро из мертвых земле, и я непременно знал: земля родная это и есть Рай, мой хвойный Рай, я вдыхал его, целовал, крепко сжимал, как маленький кедровый орешек, в потном тесном кулаке.

Я жизнь в кулаке сжимал. Она была слишком любима мною. Я не хотел с ней разлучаться ни на миг.

Так я сжимал жизнь в зимнем холодном кулачонке, и краснели на морозе маленькие пальцы, и я бредил Раем, не понять было, в нем я или вне его, вспоминаю я о нем или живу в нем, и никто меня из него никогда не изгонит. Потом я сел на снег и стал мечтать о костре. Потом стал тихо засыпать, клонить голову на морозе. И хоть я был тепло одет, снаряжен матерью для дальнего в тайгу похода, мороз пробрал меня до костей, и стал я тихо замерзать, помышляя о том, что мороз — это просто сон, это только сон, и ничего больше, и вот он, Рай, рядом. <...>

ЦАРСТВО ОГНЯ

<...> Дым вздымался, вился, и клубился, и, танцуя, поднимался вверх серебряными кувшинками, перламутром дикого табака. Площадь курила трубку войны и все никак не могла накуриться. Беспросветную чашку неба опрокинул над Красной площадью Бог, он склонял в царстве льда и бурана всеслышащее ухо к человеческим далеким крикам.

— Царь!.. Где наш Царь!.. Страданием наелись досыта!.. Где воскресение?!.. Житие насквозь пройдено, от века до века!.. А разве ты воскреснешь?.. То умеет только Бог!.. Никто как Бог!.. Устали мучиться!.. За муки — отомстим!.. Да покажи, кому мстить!.. Не узнаем вражину в толпе!.. Укажи на супостата, да не обмани!.. Слишком много обмана развелось!.. Обман на обмане сидит да обманом погоняет!.. Разрушим обман кровью!.. Лишь кровью ложь ко кресту пригвоздить можно!.. Кровь — наша последняя правда!.. Истина!.. А что есть истина?.. Истина — вот она, в горсти у той девчонки, вон, у того костра!.. Стоит!.. Сиротка!.. Синеглазка!.. Видишь вон ее!.. В мешке!.. В рубище!.. А может, у ней истину — купить?.. А ты подкатись да спроси!.. За спрос денег не берут!.. Эй ты, девка... да, ты, в непотребном мешке!.. Почем истину продаешь?.. А?.. Не слышу!.. Что?!.. За так отдашь?!.. Что ты брешешь... так не бывает... все на свете, слышишь, все-все-все чего-то да стоит!.. Ну, давай, давай твою истину... беру... авось пригодится... да коли за так отдаешь... даришь, выходит так... ну валяй, дари, не откажусь...

— А ты что стал?! Где острая сабля твоя?! <...> Мы — сила! Мы — слава! Мы — земля! За мир на нашей земле — уьем!.. Любого, кто сунется... кто подойдет!.. Знаем мы ваш мир, вруны! Ваш мир — обман! Лишь ваша с нами война — чистейшая правда! А наша с вами война — святая истина! Тут мы сошлись! И батюшки не надо, чтобы нас на бой благословить!

— Рублю наотмашь!.. Режу... башку напрочь отсекаю... прямо в сердце целю! Такова участь! Таков уж человек на земле — стрелок великий, пуля и знамя насквозь прошьет, и лик на хоругви, и кольчугу, связанную из рыбьей чешуи, и княжий атлас, и розовое, цветочное сиянье зари! Где наш Царь!.. Зачем вы отняли у нас нашего Царя!.. У нас же был Царь!.. Был!.. Зачем вы убили его!..

— Зачем мы... мы сами... убили... его...

— А ты что, спасения хочешь?.. Думаешь, Царь тебя спасет?.. Сам учись себя спасать!.. Ах ты лжец!.. Не работаешь, а клянчишь денег!.. Палец о палец не ударил, а жаждешь сокровищ!.. Кровь твою сокровище!.. Топор твоя святыня!.. А Царь, запомни, он всего лишь человек... Обряди себя в красный атлас, в синий небесный шелк! Откажись от серебряного, соблазнительного динария, что тянет тебе мужик-бандит в смуглых кривых, грязных пальцах! Улыбнись и прошепчи ему, и пусть летит шепот от уст твоих нежнее беличьего пуха: воздадите кесарево — кесареви, а Божие — Богови!..<...>

Бабы нещадно друг дружку мерзлыми кулаками молотили. Визги и вопли ввинчивались в седой колкий воздух. Мальчишки, сцепившись руками-ногами, катались по площади, подобно зимней колючке, сохлону перекаати-полю. Древние деды заматывались слабыми руками и бросали друг в друга камни, вывороченные из мостовой булыжники. Булыжник в башку попадал — падал старик, кровью заливаясь, и пропало под красным флагом крови его орущее лицо. Мужики друг друга наземь валяли, скалясь, заламывали друг другу руки, топтали друг друга тяжелыми гирями-ногами. А уронив на булыжники площади, садились на корточки рядом с поверженным, хватили его бедную голову обеими руками и били, били о камень, и опять брызгала кровь, текла на голубиный снег и нефтяной лед.

Как, хотел крикнуть я, разве друг дружку возможно вам уничтожить?!.. Вы же все — народа одного! Мы же все — один народ! Человек человеку — хлеб! Да, родные, теплый хлеб, только из печи! Человек человеку — цветок! Даже зимний, сугробный, гробовой, ледяной... А вы друг в друга камни бросаете! И ждете — огня! Чтобы в бешеный костер палки просмоленные окунуть! А как возожгутся, с ними по площади побежать! На небо взбежать хотите?! Ничего у вас не выйдет! На небо убийц не берут! Только праведников! И значит, вы, грешники, друг на друга понесетесь! <...>

Мысленно я все эти словеса уже кричал людям в лица, а въявь не мог и рта разлепить. Будто мне рот зашили белыми ледяными нитками. А разрезать нить некому.

И тут сзади нас, меня и простоволосой златовласой бабы, раздался гул: огонь шел стеной, огонь имел голос, он мог выкрикивать отрывистые, жалищие осами, бормотные слова. У огня было свое Писание. И я понимал: мы все его прочитаем когда-нибудь, сие безжалостное, пламенное послание Господа Мiру.

Я смог только судорожно вдохнуть морозную сизую хмарь и тихо, хрипло спросить косматую Блаженную:

— Значит ли это, Блаженная, что огонь перельется во Всемирное Огнище?

Она покосилась на меня из-под бури волос зверьим пылающим глазом.

— А ты думаешь как? Огонь, раз запаленный, не умирает. Он бежит дальше по сучьям... по веткам и полным ржавой прошлогодней травы оврагам... пока великой пищи себе не найдет — и не вспыхнет могуче, не займется во весь окоем! Ты слышишь, люди как озверели! Звери, слышишь, звери жалостливее, нежнее бывают: и к врагам, и к друзьям, и к тем, кто, ворча, визжа и бляя, сбился в родную стаю!

— А ты... ты же можешь... крикни...

— А я? Что я? Кто — я! Что — я — могу?! Против оскалившего зубы Мiра...

И все же она нашла в себе силы.

Вскинула руки. Я знал: она так любила стоять, как Матерь Оранта, с высоко поднятыми руками. Только сейчас я увидел: мешковина на ее груди обгорела, будто она стояла во храме и свечку близко ко груди держала и пламя свечи ей мешок опалило. А может, в нее кто злобный бросил обмотанный горячей паклей камень, зимний огненный снежок. И прямо в грудь попал, туда, где у всякого человека нательный крестик птичьей лапой прячется.

С высоко поднятыми руками, на снегу стояла она, моя женщина. Я не осознавал тогда, что она моя; зачем мне было это знать? Такое знание не прибавляет ни сил, ни счастья. Всяк человек свободен. Он — ничей. Богов. И каждый человек — народ. Блаженная сегодня и всегда была мой народ. Весь огромный народ вместилился в нее. Все люди, что толклись и плакали, дрались и били друг друга на площади, молились и целовались, — это была она. Единая. Неделимая.

Сквозь обгорелую рыболовную сеть холста просвечивало ее тело. Я не испытывал вожделения; оно давно покинуло меня, ушло к другим людям, занятым трудом продолжения рода.

И моя женщина, очами светяся синее Оранты, ладонями сияя сильнее Херувима, воина Небесных Сил бесплотных, вздернув над головою руки, начала усмирять ссору, на всю площадь кричать о мире.

А вокруг бесились, с ума сходили огни, люди жадно возжигали новые костры и среди костров текли, притекали к ней, все к ней, а она врыта была в камень площади живым островом, и люди входили кораблями в заводи ее стонов, в закатную слепящую воду ее вскриков:

— Родные! Братья мои! Сестры мои! Мать моя и отец мой! Да всякий здесь моя мать и мой отец! Узнаю вас и во тьме, в кромешном волгломе мраке!.. Все на свете повторяется: и любовь, и роды, и вражда, все-все! Да кто же вас под локоть толкает, кто оскаленные зубы вам ядом насыщает!.. А если на колени кинуться в сугроб перед врагом?.. И взять его руку, и губами к ней, теплой, прижаться, и покаяться, и понять: вот, под тончайшей кожей в той руке, по перевитым жилам, кровь течет, и кровь та и сердце ваше омывает, и душу исстрадавшуюся вашу! Слушай вашу кровь! Кровь — это Бог! Недаром Он завещал Его кровь из чаши пить, когда вы, безумцы, к Прича-

стию подходите... Да, бой свят, коли он идет — за святое! Бой — в небе гремит, даже если косточки воинов истлевают в земле угольной, холодной, сырой!..

Блаженная передохнула, и я неотрывно глядел на седые, золотые пряди ее косм, что крутил ополоумевший ветер, на широкий, чайкин разлет бровей, на скорбно сложенные губы, на раздутые ноздри: она, часто дыша, ими ловила площадной воздух: гарь, ветер, смрадную вонь горелой бумаги и дух раскаленного железа.

— Нет вам Божиего закона! Когда вы сами будете умирать, вы поймете, что значит другому лечиться под нож, что значит чужому оголить грудь, чтобы полоснули по ней огнем! Вражда... ненависть... месть... <...> Не жгите великие костры в ночи. Не проклиняйте друг друга. В поцелуе слейся, свет!

Зачем она им это говорит. Они же не слышат.

Она замолчала внезапно и страшно, будто ей кто на горло петлю накинул и быстро затянул. Дышала еще чаще, еще безудержнее. Воздух ртом втягивала, глотала. Так пьют воду. Так, возжаждав смертно, едят снег.

Безумица. Бедная.

Я стоял совсем рядом, и потому я мог рассмотреть, как на морозе по-детски заплакала она: слезы золотыми искрами катились по впалым голодным щекам, лицо чернело от копоти, от дыма, от боли, которою все болели, а она всю ту боль, я видел, безропотно, молча брала на себя, на узкие, тонкие плечи и грудь, в нежные дрожащие ладони, и тяжело ей приходилось, да не было у нее другого пути. И я видел, как глубоко, словно бы ребенок после горького долгого плача, вздохнула она, и вот она вытолкнула эти слова, огненные, радостные, смиренные, тихие, навечные, родные:

— Любите... друг друга...

Неужели не внемлют? Никто и никогда?

Она снова выпустила этих Христовых, древних птиц в Мирь, а никто не услышал ее.

<...> Гул взвихрился, поднялся бешеной спиралью вверх, к ночному небу, ввинтился в россыпи звезд. Звезды, сестры наши, летели пулями, свистели. Косые глаза женщины наблюдали конец света, царство огня. Жар усиливался. Я не мог дышать. Огонь опалял ресницы и брови. Шкура на плечах моих затлела. Босая баба сделала шаг ко мне. Быстро, крепко обняла меня. Будто прощалась со мной.

— Господь храни тебя. Ты под крылом. Бедный, милый блаженненький. Шкура-то на тебе медвежья. Сын ты медвежий, я знаю. Грамоте умеешь? Начирикай перышком гусиным, что здесь видал-слыхал. Огонь я успокою. Я слово знаю. Огонь меня любит. Он меня слышит. А ты? Ты слышишь меня?

Я задыхался в ее внезапных объятиях.

— Да.

— Любимая земля. Родина. Погибнуть не должна. Не может. Запомни. Запиши. Кровью запиши, коли чернило не добудешь. Мирь не казнят на плахе. Мирь выживет. Ты его спасешь. Царь наш его спасет. Да что там Царь! Народ. Народ его спасет. Помни! Наш народ. И больше никто. Ты и есть народ. Я народ. Спаси Мирь. Ты сможешь. Ты юрод. Лишь юроды, во все времена, спасали Мирь. Нарисуй внутри себя сначала гибель Мира, а потом его спасение. Так и будет.

Я сцепил худые голые мои руки на ее спине, страшно горячей под мешковиной, что нещадно, мощно рвал северный ветер.

— А я вдруг не смогу!..

Она все крепче, бесповоротней стискивала вокруг меня руки. Прижимала меня к себе, будто я и вправду был дитенок несмышленный.

— Сможешь. Я вижу. Я все вижу.

И я все крепче, безумней сжимал ее в кольце замерзших рук моих.

— А я почему же не вижу?!

Я почувствовал ее улыбку щекой, скулой, горячей шеей.

— Ты и не должен. Ибо ты делатель. Ты просто делай, и все. Делай и молись. Юродивое дело угодно Богу.

Она разжала руки так быстро, я и не понял как, когда.

Толкнула меня в голую грудь.

Шкура разошлась на груди, обнажился крест наперсный мой.

И она тоже рванула холстину; мелькнули молнией ключицы; высверкнул на морозе ярко-синий нательный крестик, бирюзовый. Бирюза саянская, наша, таежная. Меня на морозе жаром обдало. Я понял, кого напомнила она мне, ее коровьи, широко стоящие под высоким лбом глаза цвета неба в солнечный зимний полдень.

Мою мать. Марину.

— Ты...

Она взяла в пальцы бирюзовый крестильный крест, другою рукой схватила мой, приблизилась, крестики переплела. Мохнатый веревочный гайтан и мою тяжелую медную цепь. Тесно друг к другу прижала. Сжала в кулаке. Я снова слышал ее горячее дыхание. От нее исходил запах спелых яблок и черной смородины.

— Вот. Видишь. Да. Так. Это наша клятва. Наше соединение. Крестами — целуемся!

Разорвала переплетенные кресты. Ветер ударял ее в голую грудь. Бирюза ярко светилась на смуглом обветренном, розовеющем на морозе теле крупной, бешеной ночной звездой.

— Уходи!

— А ты?! Пожар идет! Сгоришь! Вместе сгорим!

Она отступила на шаг. Ее босые ноги прожгли в снегу темные зверьи следы.

— Останусь тут. Усмирю огонь. Если вдруг что, не страшись. Улечу. У меня крылья. Там, за спиной.

— Где...

— Ничего не боюсь. Смерть мою узнаю в лицо. А пока она не пришла — я бессмертна. Я бессмертна, слышишь?! Пуля — моя. Огонь — мой. Нож и петля — мои. Голод — мой. Весь на свете смертный ужас — мой. И весь праздник — мой. И ты — мой. Ты моя жизнь. Мы с тобой ночным небом повенчаны.

Босая повернулась, ветер взвил ее густые перепутанные волосы пшеничным флагом, глаза сверкнули васильками, и я увидел за ее плечами, за лопатками, два прозрачных крыла, они дрожали, тихонько шевелились, перья по ним струились, вспыхивали и гасли, светились и истончались и опять небесной волной набегали, и я закрыл себе рот ладонью, глядел на крылья, и шепот сам выходил из меня и сам уходил далеко в горящее ночное поднебесье.

— Ангелица...

Она опять улыбнулась, и теперь я видел улыбку ее.

Это была не улыбка, а солнце во славе лучей. Лицо ее воссияло, я видел такое светило однажды в моем Раю. Свет ее лица катился в небесах и по земле, и я благословлял его безмолвно и радовался, что протянула она мне улыбку свою, как хлеб голодному.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЦАРСКИЙ ПИР

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ну что, Красная моя Луна. Висишь надо мной, над моею бедной головой. Патлат я и кудлат, а все туда же. Гляди, Красная Луна, как иду по московским сугробам, по мостовым и обочь широких дорог, по кочкам и буеракам, проваливаюсь в ямы. Плох тот путник, что в яму не проваливался, а все по ровному-ровнехонькому гордо шел. И Москва моя нынче не такая, так тогда была, еще вчера. Непроглядна чернота за спиной! В заспинное Времечко не всякому дано оглянуться. Взгляд там утопает, ум плавится, как железо в кузне.

Иду по Москве босиком. Кругом новье, а я все такой же. Иду босиком, и железо, мраморное подземье и оголтелые вопли молодежи ложатся мне под ноги, тычутся под руки, под грудь. Благословения просят? Многого хочешь, юрод! Не понял, как изменился Мирь! И ты его обратно не перелепишь! Не сотворишь, каким он был и каким ты его любил!

Ангелица прилетела: к беде.

Хвостатая звезда посреди неба бесится — к горюшку народному.

Да ты тут еще, Красная Луна, в синем дегте туч торчишь.

Вся облита кровью, залита кровушкой твоя сковорода. Нет ничего ужасней. Заде-ру башку да гляжу тебе в рожу. Круглый красный лик. Глаза, нос и рот. Страх глядеть. А еще страшней догадаться: тебя, тебя сей лик отражает.

Знаешь что, Луненька-Луна алая? К небу приговоренная, зарей казнямая? Я скумекал. То не ты на меня из поднебесья глядишь. То диавол на меня глядит. Жив диавол на свете, да ведь и Бог жив. Оба — живы. И оба — нами — на земле — друг с другом — сражаются.

Диавол убивает тех, кто хохочет над ним.

Я шел и шел туда, куда ходить не надо мне было, да нельзя было идти никому: в Кремль. Переступить порог власти разрешено только во сне. Да то простому смертному. А я не прост. Нет! Не прост! Я же юрод. Мне — поперед всякого человека на земле — дозволено. Ибо я, Юродивый, жил прежде всякой наималейшей жизнешки на земле; я тайлся в камнях, по ним потом поползут гибкие гады; плескался в соленой теплой воде, лишь завтра в ней поплывут, заискрятся амебы; глядел со дна морского, где зарываться в древний песок, засыпая, станут трилобиты. Почему юродство впереди всей жизни бежало? Только ли потому, что юрод не просто зеркало Бога, а он себя пред Богом — никчемным зеркалом разбивает?

Тайну сию никто мне не открыл. Я ее и сам знаю. Изначально. В крови моей течет-струится.

Вот подошел я, пройдя все улицы бетонные и створы железные, к земляно-красной кирпичной стене. Кремль! Он. Знал тут каждую гордую башню. Постоял немного. Подышал ветром. Надо бы войти через Боровицкие врата. Открыты! Люди могут тут гулять, меж собой о том о сем балакать. Людей наблюдает царская охрана.

Подходит ко мне страж. Погоны на плечах. Рот сжат в тонкую нить. Каменный лик; неужто воздух вдохнет и слово изронит?

— Кто ты есть, босяк?

Я вздохнул шумно. Улыбнулся во весь рот, широко.

— Василий!

— Что значит Василий? Так просто — Василий?!

— Блаженный я Христа ради!

Страж онемел. Глядел на меня, на шкуру на плечах моих темную, медвежью, с пряжками липкими, засохшими, на морозе инеем осолёнными, на мои босые, в цыпках, ноги. Потом голову поднял и сердито засмотрел мне в глаза.

— Почему у тебя зрачки красные? Как у зверя? А?!

Улыбка не сбегала с лица моего.

— Потому что я нынче на небосводе зрел Красную Луну.

— Ишь! Луну! Красную! А сейчас-то белый день!

Да, денек был веселенький, лучистый, сплошной снежный праздник, снежные городки стояли впереди и сзади, один такой городок я безжалостно, нагло перешел вброд, порушил его голыми ногами, снеговые башни коленями да локтями расшвырял, а городишко тот, видать, детки возвели, да повторение точь-в-точь подлинного Кремля, вот башня Набатная, вот Боровицкая, вот Кутафья, вот Спасская. Из снега слеплены. Я разрушил, смеясь, негодяй, а и сам по весне снежный Кремль растаял бы.

Синева лется, лбы и плечи заливает! Небо ножом Солнца вскрыли, и синяя густая кровь хлещет! Прямо на наши затылки, темечки! Глаза в синь вонзаешь — а они в ней тонут, вязнут! Вмешивает синь нас, живых, в себя!

В Богородицын плащ — да чтоб не дышали, — как младенчиков, заворачивает...

— А ты, Василий, видать, бродяга нахальный в шкуре зальделой! Куда стопы направляешь?

— К Царю!

Страж сложил губы трубочкой и изумленно присвистнул.

— Фью-у-у-у-у-у! Эка хватил! К Царю! А выше не метил? К Богу, к примеру?!

Я все улыбался, и щеки мои от длинной улыбки сложились на морозе напряженной, застылой гармошкой.

— Так я и так уже у Бога за пазухой! И там сижу, и на тебя нынче оттуда — гляжу!

— Экий безумец! — Я видел, мое юродство начинало стражу нравиться; он решил поразвлечься. — А ты, безумец записной, что умеешь делать? Фокусы Царю показывать будешь? Или что получше?

Я решил говорить правду.

— Я вижу будущее. Расскажу Царю нашему грядущее. Близкое и далекое.

— Пророк, что ли?!

Он удивлялся, злился, сомневался, бегал по снегу глазами, соображая.

— Ты сказал.

— Ты сказал, ты сказал!.. Разговорчики — отставить!.. Ах, черт, а где эта твоя Красная Луна?.. Небо — синь, аж глаза выжжет... а ты — Луна, Луна...

Пока он шнырял зрачками уже не по земле, а по слепящей небесной голубизне, я радостно сел в грязный снег. Скрючил ноги. Подсунул под себя ступни, чтобы собой их согреть. Предсказанья посыпались из меня, будто я был снеговое облако и щедро сыпал серебряным, сонным снегом будущего. Я тянул руки к громадной, уходящей далеко и высоко в небо белой колокольне, церковные окна со скрипом и лязгом отворялись, из них вырывалось древнее красное пламя; я издали успокоительно, нежно дул на него, как на великанскую свечу, и красный огонь тут же угасал.

— А мне, мне-то, юрод, попророчествуй хоть чуток!.. Мне-то хоть какую тайнишку открой!..

Я видел, страж хочет получить от меня доказательство могущества моего.

А может, он просто — хочет — будущее — узнать?..

— Изволь! Поведаю! Великий мусульманский хан вторгнется в пределы Руси. Война разгорится, запольхает на всю стонущую Русь и на все страны ближнего Западно-

го Торга. Запорожская Сечь вся поляжет от незримой отравы, и молчать будет выжженная невидимым ядом широкая земля, плодоносить не будет, и тот, кто появится там, мимохожий или с целью вожденной туда стремящийся, потеряет здоровье, от боли задохнется, упадет на землю, ребра будут вздыматься, как у лошади, павшей в бою. А после и жизнь утратит. Восточный каган на крылатой железной птице прилетит, скалясь, вторгнется в русскую исконную святость, станет зверствовать, животы разрезать крестом, глотки рассекать, лить в рот расплавленный свинец, и люди, таково мучимые, будут даже крика боли лишены, ибо перейден будет порог боли, а распахнутся двери небытия. Нет, не Сулхан-Гирей! Не Махмет-Гирей! Не Субудай! Иное имя будет носить! А вот наш Царь как воцарился — так тут я и явился пред ним, Блаженный Василий, в поте и в мыле! Вот, видишь, крючу пальцы обмороженные, пою песни настороженные! Пусти меня! Пусти к Царю! А иначе я сам, мыслью да волей, врата отворю!

Я видел: страж не знает, что и сказать. Рука его к кобуре на боку потянулась.

Хочет покончить со мной разом. Хочет пристрелить. Чтобы не поднял я, смутьян, великую бучу в людми и Богом хранимом дворце.

Я упал на землю. На живот. Растянулся на снегу. Раскинул руки и ноги. Превратился в живую голую звезду на покрове истоптанного людми и лошадьми, изрезанного железными повозками наста. Замер. Застыл и страж. Я услышал шелк передернутого затвора. Стал громко, горько, восклицая жалобно, плакать, стал молитвы читать, что знал и что не знал, и те, что не знал, а сразу, вновь я рождал, огнем на губах горели, — а люди, мимо идущие, медленно плывущие, задыхаясь, бегущие, завидев и слышав меня, дивясь и страшась, быстро крестились и бормотали: ох, юродивый в Кремль явился, что-то, знать, будет, беда-горе; большое горе, видать, вспляшет среди нас, и черная беда устроит Адский праздник на Москве.

И, лежа на снегу, распластанный, стреляй не хочу, я так плел языком:

— Беда, да, беда пробьет! Куранты захлебнутся!.. Огонь неистовый нахлынет с небес! И все-превсе в том пламени сгорит! Храм Воздвижения восплает первым! Китай-город языками безбрежного костра в небеса взовьется! И Кремль, Кремль ведь тоже запольхает! Так пылать будет — в иных странах узрят! Дворцы великих князей обратятся в жженую пыль, в гаревой прах. Медь расплавится и рекою польется. Людям жидкое железо ноги обнимет, и, стеная, упадут люди во Ад на земле. Вопли скрестятся над головами, слившись в единый вопль. Кулаки взметнутся к небу, сжимаясь в единый кулак. Многие проклятия повиснут черным вороньем под пологом грозы, став единым проклятьем! И я, я, Василий Юродивый, вам прореку тогда: не кричите, а веруйте, маловерные! Лики закиньте к небесам! Руки обожженные воздымите! Видите там, в зените, красную стрелу?! Кровавая звезда хвостатая! Вестница боли! Летит ко Красной Луне! Прямо во всевидящий глаз ей метит! То знамение я прочитал у Бога! Вам, слабые духом, его изъяснил! Имеющий уши да слышит!

Я поднял лицо от грязных потеков талого снега. Я снег прожег телом моим и сердцем моим.

Я небо прожег хриплым криком моим.

И люди стояли вокруг меня, грудились, сбивались в кучи, как больные пчелы, кто крестился, кто смеялся, кто проклинал, кто плакал, но никто не уходил с заметенной снегом кремлевской дороги, а все больше народу подходило, и слушали меня, и переставали блажить, и затихали, и молчали, и, безмолвно плача, обращались в слух.

<...> Рядом сейчас стояли они, Царь и Юродивый. Василий видел затылок царя. Он чувствовал себя летящей фигурой на иконе, и они оба, Царь и он сам, чудились Ва-

силию тенями на иконописном клейме; клейма, на коих намалеваны события из жизни святого либо преподобного, по ободу иконы текут; передвигаются потемнелые квадраты; тихо светятся; и там, внутри, в их ночном свечении, они оба, нынешние, сиюминутные, навеки спрятаны.

— Садись. Вон диван.

Царь указал пальцем на обитый атласом цвета зари широкий диван.

Сам крупными шагами подошел и сел. Пружины зазвенели. Хлопнул ладонью по обивке рядом с собой.

— Давай! Не робей!

Василий шел к дивану, будто реку по льду переходил.

Перешел Время. Уселся рядом.

— Ну? Опять молчишь? Неразговорчивый ты.

— Ты, — Василий уперся зрачками в лоб, — тоже не особо любишь языком мотать.

Помолчали оба. Царь обернулся к раскрытой в ночь двери.

— Эгей! Нам сюда яств, да повкуснее! Рыбы красной! Осетрины копченой! Кизила спелого, ананасов резаных, сыра с плесенью... вина французского! «Шабли»! Нет, лучше аргентинского! Или того, ну, мне вчера привезли... люди мои прилетели... с острова Тасмании!..

Люди, улыбающиеся во все лицо, в колпаках с бубенчиками, в розовых атласных халатах и вышитых нежным золотом тюрбетейках, внесли на подносах черного серебра кисти синего, покрытого сизым налетом винограда, тонко порезанную севрюгу, осетровую икру в маленьких хрустальных вазочках, и чайные ложки с витыми позолоченными ручками торчали в ней. Винные бутылки возвышались древними башнями. Вавилон должен быть разрушен, а мы где? В Армагеддоне?

— Армагеддон, — тихо произнес Василий, — это Армагеддон.

Царь держал в руках виноградную гроздь и озорно, как пацаненок, скусывал с нее черно-синие приторные ягоды.

— Что?.. Что ты сказал?..

— Армагеддон. Град Армагеддон. Ты в нем живешь. Ты в нем правишь. И ведать не ведаешь, что завтра тебе придется с ним расстаться.

— Как это расстаться?!

Царь расхохотался, бросил виноград на поднос.

— А ты-то что не ешь ничего? Ведь наверняка оголодал! В героя играешь? Брось! Никто тут тебя не съест! Ты — мой гость! Вот и все! Все так просто!

Василий протянул руку к подносу, будто ею проткнул густые облака, взял витую ложку за ручку, как рыбу за хвост, зачерпнул икру и сунул ложку в рот. Положил ложку на серебро, она зазвенела.

— Благодарствую.

— Что так мало вкусил? Ешь в досталь!

— Не буду. Слишком красиво.

Царь тихо засмеялся. Отломил от пахлавыв липкую щепоть.

— Не привык ты к прекрасному, к сладкому. Ну да ладно. Расскажи лучше про себя. Про то, как ты дошел до жизни такой.

Царь обвел рукой воздух вокруг Василия.

— Изволь, владыка. Я обычный человек. И обычным ребенком рос. Так мне казалось. Мать моя знахарка деревенская была. Травы в Сибири собирала. На медведя мы с ней ходили. И медведицу — убили.

— Медведицу?.. Мать?.. С медвежатами?..

— Так вышло. Не суди нас. Голодали мы. Медвежат спасли. Да, знаешь, в детстве я начал предчувствовать неизбежное. Перед тем как прийти великому горю, беде все-

общей, я зрел на небесах таинственные письмена. Не мог я разгадать эти символы. Не понимал, что они означают. Тогда не понимал. А подрос — и стал понимать. Кто мне это понимание дал? Бог? Или Тот, Кто стоит за Его спиной? Вечный вражина Его? Я обучился разгадывать звездные узоры, складывать кресты из лучей и ладить охотничьи стрелы из алмазной ночной сутолоки. Я в себе силу ощутил. Огромную, силу. Не знал, что мне делать с ней. Не мышцы силой наливались; не мозг мой лопался под выгибом черепа; эта сила гнездилась глубоко во мне, там, где я перетекал в то, что было в Мíре до меня. Каждый из нас состоит не только из собственных телес, но из плоти, крови и духа тех, кто жил на свете до тебя. Вот ты! Ты — тоже из прежних людей сложен. Не хочешь об этом думать, знаю. Я учился видеть Время. И я видел его. А Время видело меня. Мы видели друг друга. Мы друг для друга были — зеркалом.

— Зеркалом?..

Царь посмотрел в лицо Василию, как в зеркало. Искал там отражение свое.

— Время то заслоняло мне мою жизнь, то раздвигалось передо мной снеговой занавеской. Я-то знал: нет Времени. Цифирь, буквицы... все стремится остановить Время, и никогда не может. Его не втиснешь во знак. Призрак оно. Улетает, чуть вздохнешь и помыслишь о нем. Оно есть, и его нет. И мы одни сидим и сами на себя в зеркало глядим. Вот война. Она гремела сто, тысячу лет назад. И сейчас. Вот человек. Дитя рождалось сто, тысячу лет назад. И теперь рождается. И впредь будет рождаться. И умирать. Любовь, ненависть, ужас, боль — все было. И все есть. И все будет. Так где же разница? Все же вечно. Выходит так, Времени нет? А что же тогда течет, и длится, и мучит, пытает нас — вместо него? Вот ты. Ты веришь, что Время есть?

— Я в Бога верую, во Христа, — тихо и сердито сказал Царь.

Виноградная кисть лежала на его ладони черным котенком.

Он смотрел на ягоду, и волнами боли покрывалось его ухоженное лицо с гладко выбритыми щеками, с золотым руном бородки, обнимающей скулы.

— Я тоже верую во Христа.

— Странный ты, непонятный юрод. Зачем ты послан мне? Не бойся меня. Я не прикажу тебя казнить. Все вокруг преступники, обманщики. Я вижу, ты чист. Вижу, хочешь мне важное сказать. Говори!

Василий исподлобья глянул на Царя.

— Хочу! И скажу. Почему опять началась война?

— Да она и не прекращалась. Она идет всегда. Всюду. Необъявленная и без видимых причин.

— Необъявленная... и без видимых... причин... Есть причины.

— Есть? Открой!

— Ты знаешь их.

— Нет!

— Ты окружен у себя в тереме народом. Тут тучи людей. Они копошатся, жужжат, бегают, ползают, валяются у тебя в ногах, корчатся под твоими плетями. Завтра они умрут. Ты ли их умертвишь, смерть ли иная за ними придет, правда одна — их не станет. А ты будешь. Тебе мнится, ты будешь всегда. И это хорошо. Человек не помышляет о смерти, когда живет, ибо не знает часа своего. Но пропадаешь ты тут, в тереме твоём, иной раз от великой тоски. И тогда ты бьешь в ладоши и вызываешь шутов. Скоморохов. Закадычных друзей. Пьешь с ними коньяк, ешь семгу и кефаль. Танцуешь, играешь на белом гладком ящике с натянутыми медными струнами. Гонишь прочь тоску. А она не уходит.

Царь скривился. Сжал ягоды в кулаке. Виноградный сок закапал на паркет.

— Все так. Правду говоришь. Но зачем мне твоя правда?

— Царь! Ты меня заловил, и ты на меня надеешься. Кто я тебе? Думаешь, я тебе вечное Царство и бессмертное счастье напророчу?

Царь отбросил раздавленную ягодную кисть.

— Да!

— Ты так нуждаешься в вечности? Тебе мало быть смертным человеком? Хочешь бессмертным стать?

— Да!

— Станешь!

— Неужели!

— Для этого нужно один лишь шаг сделать.

— Говори!

— Останови войну!

Царь резко, стрелой, поднялся с дивана. Набычась, стоял перед Василием, злее сторожевого пса.

— Безумец!

— Ты же знаешь, я безумец.

— Преступник!

— Если я закон преступил, казни меня.

— Да, грешен человек! Но если человек на благо родины его трудится и не изнемогает — велик он, а не грешен! Чист и ты, сумасшедший! Слушай, где я видел тебя? А ведь точно видел! Рожа твоя мне знакома до страсти! А вот скажи мне, ты любишь Родину?!

Зачем он меня об этом спрашивает. Меня, русского человека. Плоть от плоти Родины моей.

Василий тоже встал. Глядел на Царя горько, внимательно.

— Любому моему ответу ты не поверишь.

— Я ничему и никому не верю! А тебе, юрод, поверю!

Василий опустил голову, и густые его космы упали с затылка на изморщенное лицо его, на грудь, на висящие вдоль тощего тела тяжелые руки-кочерги.

— Люблю.

— Я тоже люблю! И любовь мою на выделку ей неразрушимого щита — обращаю!

— Значит, ты хочешь смертью победить смерть.

— Да! Так!

— Так все думают. Так все верят. Задумался ли ты хоть раз один в жизни твоей, что тот, кто умер, девять дней реет над собственным телом, озирает любимое место, где жил и страдал. Сорок дней посещает родных и, стискивая незримые руки над ними, скорбящими, плачет вместе с ними. А потом исчезает душа. Куда? Задумался ли ты хоть однажды, куда она улетает?

— Нет.

Василий видел, как тому с трудом далось это «нет».

— Ты не раз хотел задуматься об этом. И в этот миг всегда велел принесть тебе на расписном подносе заморский коньяк и хрустальный бокал. Тебе наливали улады в дедов зимний хрусталь, и ты пил. Забывался. Забывал. Война казалась тебе необходимым условием жизни. Ты не мог от нее убежать, но ведь и она тебя не покидала. — Василий сцепил во смуглом костлявом кулаке прядь длинной зимней бороды. — Впервые испросил твоего повеления остановить войну. Другого раза может и не быть!

Царь повернул голову и поглядел в окно. Его профиль лег на ночное синее стекло бледной ледяной скульптурой. В палату вошел прислужник, в руках он держал поднос, на подносе стояла бутылка и две искрящихся рюмки красного хрустала.

— Ты владеешь мысленным приказом?

— Нет. Просто время пришло.

— Какое?

— Выпить за военное счастье.

Прислужник, горбато склонившись, разлил коньяк по длинноногим рюмкам. Царь ухватил рюмку за ножку, приподнял и стукнул о другую. Тихий печальный звон разнесся по палате, умер в дальнем углу, там, откуда глядели дикие, дивные росписи: молодец в красном кафтане срывал с зеленого изумрудного дерева алое яблоко, протягивал девице, а девка заслонялась широким рукавом, рукав трепал ветер, девка хитро, тонко улыбалась из-под рукава, из-под синего небесного сарафана босую ногу зазывно выставляла.

Василий осторожно взял наполненную зельем рюмку. Он глядел на роспись.

— Что же... Давай выпьем за счастье военное, сокровенное. Вот у тебя на стене Рай наоборот: не Ева кормит яблоком Адама, а Адам Еву. Парень обхаживает девку, а не девка парня. Может, так оно и было в Раю-то? А потом парень соберет мешок, взовьется на коня и ускачет. Опять на войну. Война-то всегда! Нет от нее избавления! О каком же счастье тут речь, а? Где оно зарыто? Где покоится? Где пирует, празднует?!

— Пирует... празднует...

Царь поднял хрусталь. Древесно-коричневый коньяк плеснулся, капля пролилась, покатила по золотной вышивке царского кафтана чистой слезой. Василий тихо поставил свою рюмку на поднос.

— Не пьешь?!

— Не гневайся. Слишком многие гневались на меня. Не уподобляйся им.

— Я — выпил!.. Мужчины воюют не только потому, что Родину защищают! А еще и потому, что им Бог велит убрать с лица земли лишних людей!

— Зачем ты врешь сам себе? Ты сам себе разум и рот обматываешь прозрачным, поддельными жемчугами униженным, кружевом лжи. Сохрани себя! Спаси себя! Ты же наместник Бога на земле! И ты же не безумец, как я! Ты — мудрец! Только безумцы призывают всеобщую гибель на головы насельников родного государства. А мудрецы то государство спасают! Руками заботливыми, громадным объятием от вьюги кровавой закрывают его! Грудью любви заслоняют его!

— Брось. Лепечешь, как дитя. Негоже мужику таким рохлей быть. Полководцы спасают государство именно тем, что полки в атаку ведут! Да, люди ложатся наземь, деревьями падают, корни в крови из земли выворачивая, в страшной схватке! Да за спиной Родина остается! Ее — спасаем! Ею — молимся! Ею — исповедуемся перед грядущим! Грядущее единое нас поймет! А не ты, полоумный, юрод!

По лицу Царя тек сердитый пот, брови сдвинулись, дергались, на скулах вздувались железные желваки. Он плеснул себе коньяк, да мимо: напиток разлился по подносу, выплеснулся на пол, запахло остро,пряно.

Василий стоял прямо, как солдат в строю.

— Смерть на войне. Не избежать ее. А не думал ты, что военная смерть стоит денег? А деньги эти отсчитывает на нее — жизнь?

— И я, между прочим, погибших в недавнем бою моих родичей — поминаю! И всех незнакомых, неизвестных воинов — поминаю! А ты плетешь языком миротворные речи! Муро, мнишь, изо рта твоего по губам твоим польется! Сейчас! Держи карман шире! Трусов в войсках наших не держим! Взвод, рота, батальон, дивизия — все смельчаки! Все изготовлены, возвращены убивать врага! А те, кто канючит, плачется, вроде тебя, те, а ну-ка прочь пошли! Вон пошли! Вон!

Василий отступил на шаг.

— Я уйду... Я не скажу тебе больше про деньги. Не скажу про твоих мертвецов. И ты меня не прогоняй так скоро, жестоко. Кто тебе еще правду скажет?

— Не хочу ничего слышать! Замкни рот на чугунный замок! Война! Без нее — никак! Самолет мой будет завтра снаряжен. Я снова прыгну туда! В этот черный, дымный Ад! В грохот и огонь! Я должен быть там, с войсками моими!

Василий сделал шаг к Царю и тяжело положил костлявые длинные руки ему на парчовые плечи.

— Чтобы отдать новый приказ — идите в бой, сражайтесь, умирайте! Умрите все, во имя жизни! Уничтожьте вражеских солдат, во имя торжества родной армии! Так, скажи? Ведь так?

— Так!

— А иного приказа ты отдать не можешь?

— Юрод! Мерзкий! — Царь ударил Василия по рукам, и руки Блаженного опять плетью повисли. — Гаденыш! Что мелешь! Разве ты военный человек! Ты же ничего не смыслишь! Ты только смерть видишь! А не видишь, дурак, что она — жизнь рождает! И в пленках боли и страха она нянчит — великое Солнце! Война — это не юродово дело! Не суйся! Никогда ты, голопузый, голопятый нагоходец, воевать не будешь! Солдат в атаку не поведешь!

Зачем он так страшно кричит. Криком правды не добьешься. Ни от себя, ни от меня. Ни от Бога. Ни от кого на свете.

Царь бил глазами по Василию, будто камни бросал в него, Василий глядел на Царя спокойно, светло, как вышедши из храма после молитвы.

— Знаю я, чего ты хочешь, воюя.

Царь аж визгнул, шагнул к Василию, и бубенчики на носке его колдовского сафьянного сапога зазвенели.

— Да что ты ко мне пристал?! А если ты мне надоел, как горькая редька?! И я велю тебя сей же час — выгнать! Вон! С глаз долой! И забуду через миг! Все запомню, как ты тут разглагольствовал о том, чего ведать не ведаешь!

Василий не тронулся с места. Стоял, будто нагие ноги его столбами вкопали в паркет, землей присыпали.

Он смотрел на Царя, плыл во сне-яви, качаясь, на льдине по синему холодному морю, а Царь с берега глядел на него, прищурясь, из-под руки, глаза ладонью от дикого потустороннего солнца заслоняя, и долго, долго провожал его взглядом. Всю жизнь.

— Я все ведаю. Всяк человек знает то, чего другой, даже если сильно возжелает, не узнает никогда. Я лечу не тела, а души. И ты болен. И тебя я могу вылечить. Я спас много жизней на войне, там не быв. Расстояние для меня не помеха. Я молитвой земли преодолеваю. Людей издали вижу. Лечу духом под облаками. И к раненым с небес схожу. Иные меня видят, иные не видят. Я к ним со скляночкой. Там снадобье. Я умею варить бальзам из лепестков шиповника. Мать моя была знахарка и меня травам научила.

— Шиповник... скляночка... что ты мне брешь тут!..

— Я вижу: бинт кончился у санитарок. Им лохмотья тяну — раны замотать. Вижу: йода нет. Бутылку тяжелую йода, лебединой ватой заткнутую, в обеих руках, плача, нес. Тайно подсовываю. Они обнаружат, орут от радости. Главного хирурга за заботу хвалят. А я тут же, невидим, стою. От радости плачу, как и они же. Йод в бутылке цвета вишневого настояки: коричневый, смоляной, земляной. Кровь земли. А за пазухой у меня муро. Я муро вытащу, пробку зубами выну, разольется дух по лазаретной палате. Солдаты глаза позакрывают от наслаждения, от изумления. Чудо! Детством

пахнет! Лесом! Сиренью! Донником медоносным! А я в муро палец окуну, к каждому неслышно подхожу и каждого помазую. Так и живу на войне.

Царь повернулся к Василию задом. Размашисто, огромными шагами, подбежал к окну. Кулаком в раму ударил. Створка вылетела, стекло, треснув, звякнуло.

— Донник, проклятие!.. Йод, заткнутый ватой!.. Кому еще байку сочини!.. Муро святое приплел... грех на башку твою зовешь!

— Правду говорю тебе. Услышь.

Василий потемнел ликом. Стоял и глядел Царю в широкую спину под блестящей кровавой парчой, расшитой золотыми папоротниками, как в зеркало; и опять там отражался.

Он отражался везде, во всех стенах палаты, на потолке, в разбитых оконных стеклах, в синей ваксе ночи, в радужном сказочном паркете, в мисках с яствами, в укатившейся в мышиный угол коньячной бутылки.

Царь обернулся. Из распахнутого окна бил ветер, как родник на горе.

— Да услышал я! Только не то, что хочешь ты!

— Дело твое.

— Но не твое, юрод!

— Воля твоя.

— Что ты в смиренника играешь! Ты же не смиренный, юрод! Ты — воин! Повстанец ты! — Царь сглотнул слюну, и кадык его резко дернулся. — Бунтарь!

— Как хочешь, так и именуй меня. Ты вот мыслишь: один он тут на Москве, сирота ползучая, ходит-бродит. Одинешенек! Во снегу восседает! Цирк зимний народу показывает! И никто не знает, никто, что у меня на войне умерла мать. Моя мать. Марина. Ибо не вчера началась. Всегда шла. И всегда пойдет. Не закончится. А еще у меня зазнобу убили. Сначала ножами всю изрезали, потом в лоб ей выстрелили. Я мыслями это увидел. И перелетел бы туда, к ней, да воскресить из мертвых только Бог может. Никто, как Бог. Человеку это не дано. Она мне письма писала. О том, как стреляют. О том, как она хочет жить. Как молится за меня. Вот живу ее молитвами. А ее убили. Так жестоко, и я...

Он не мог говорить. Слезы залили ему лицо. Царь, не отрывая глаз от его темного, солнечным золотом на подземной доске прорисованного лика, сделал шаг к нему, другой, третий. Он так медленно шел к нему, что Василий подумал: пол липкий, вареньем небось залили, подошвы царских сапог к паркету приклеиваются, примерзают.

— А что же ты за ней не поехал? Что в Москве торчишь, по улицам босиком слоняешься, голубям да торговкам на рынках глаза мозолишь?!

— Я Москве нужнее. В Москве тоже битва идет. Еще какая! Неостановимая. Только я ее покамест утишаю. Утешаю. Чтоб не ревела на весь Мирь белугой. А будет и на Москве великая битва. Попомнишь меня.

— Да я...

Царь всплеснул руками совсем по-ребячьи.

— Да я вспоминать тебя отнюдь не собираюсь! Я тебя — от себя — никуда и не отпущу! Все, перестанешь бродяжить по столице! Будешь у меня по двору гулять! Мне — будущее — предсказывать! Мне — раны — лоскутьем обматывать!

Василий стоял, молчал. Потом закрыл глаза. Тихо качался перед Царем, под ветром иномірным.

— Опять в молчанку играешь. А вот ответь, что ты умеешь делать? Ну, руками, пальцами, работенку какую обычную? Какому ремеслу обучен? Лекарей у меня и других полным-полна коробочка. Иноземные! Одного звать Бенвенуто, другого Федерико. А третьего недавно с острова Британии выписал, по прозвианию мистер Фьюче. Лов-

кий, змей, оборотистый! Все в ручонках так и играет, искрится! Куда там твои склянки... там целая россыпь стеклянных, ядовитых огней... пузырьки, фляжки, мензурки... в одну наливает, из трех выливает... смешивает, дым клубится, вонь, гарь, а то аромат Райский, неопиcуемый... Отвечай! Не понял еще, что ли! Я тебя — на службу к себе беру! Сюда! Во дворец!

Василий стоял в ночи молча, и ночь со всех сторон обнимала его и тихо танцевала вокруг него.

— Я умею жарить и парить. Еду готовить.

Пришла пора изумленно замолчать Царю.

Молчание он нарушил громоподобным хохотом.

— Да что ты говоришь! Еду варганить! Повар ты у нас, значит! Повар! — Царь вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони, не переставая смеяться. — У-ха-ха-ха! По-о-о-о-овар! Вот это номер, чтоб ты помер! Повара мне Бог послал! Да у меня поваров на кухне знаешь сколько... — осекся. Измерил Василия взглядом вдоль-поперек. — Повар, говоришь... Быть по-твоему, бродяга. Чую, особые блюда ты будешь готовить мне. Чудодейные. Единственные. За то тебя и беру, слышал! Ты чудесник, и еду из рук мага получать — не то что из рук остолопа. Хочу и беру! И — взял уже! Эй!

Громкий хлопок в ладоши спугнул двух синиц, примостившихся на стрехе теремного окна. Раскрылись двери, ворвались слуги, бояре, спальные, оруженосцы, воеводы, те, кто ждал вечернего царского приема; влетели, втекли, расплзлись по палате, спрятались под расписными лесными сводами, под пологами и занавесями, склонившись, умильно глядя Царю в лицо, ждали приказа.

Он развернулся и мощным, богатым, всевластным жестом указал на прямо и жестко, как мертвая жердь, стоящего Василия.

— Вот! Видите этого человека? Ага! Видят все! Все созерцают! Смешон, да! Наг, нищ и бос! Однако воля моя — и с нынешнего дня именно он становится главным поваром на моей кухне! Привозить ему лучшие яства! Отборные овощи! Свежевыловленную драгоценную рыбу из моих морей и рек! Закалывать откормленных свиней, молодых теляток! Свежевать только подстреленных на моей охоте зверей! И новоиспеченный повар будет готовить мне оленину, козлятину... медвежатину!.. Вы!.. Слышите!.. Доставлять крупнейшие, вкуснейшие садовые ягоды: сливу, вишню, смородину, а также ягоду лесную: бруснику, голубику, чернику, землянику, иргу! Яблоки румяные, румяней девичьих щек, в мешках на кухню приволакивать и в чаны сыпать, чтобы повар те яблоки ножом резал и из них, смешавши с сахаром и медом, начинку делал для могучих, во весь стол, пирогов! Добыть и установить на кухне бутылки прозрачные, бутылки вместительные, громадные, для изготовления домашних вин, бражек, настоек и наливок! Вы слышали?! Все поняли?!

Кулак подъятый Царь, выкрикивая это все и веселясь, над головой держал.

И все, вся челядь, донельзя напуганная, глядела на тот массивный, крепко сжатый кулак, величиною с великанскую кедровую шишку. Такие на старых прибайкальских кедрах, сгибая тяжестью иглистые ветки, висят. Их только колотом сбить. Сами на-земь не упадут.

— Все... все.. Царь-государь наш... О, поняли... и все исполним, как надо... повара нового как надо обходим... на кухню препроводим... в одеяние облачим белое, белоснежное... без единого пятнышка... без черноты, без кровушки, без жира потеков... чисто выстиранное, крахмальное... белизны родильной, крестильной, свадебной... ибо жизнь человека — что она?.. она вечная еда... без еды мы никуда... едим, едим, а потом все рассеется, как дым... а у этого, у юрода-то, глянь, какая богатящая бородища, даром что нищий... отращивал ее года...

Царь близко подошел к Василию. Положил руку на плечо. Приобнял покровительственно, невесомо, кичась им перед свитой, как охотничьей добычей.

— Ну что, дурак? Доволен ты судьбой своей? Что стоишь столбом, меня не благодаришь?

— Я не должен был приходить сюда.

Василий стоял, глядел и не видел. Он не видел ни толпы, ни Царя, ни разбитого в осколки стрельчатого окна.

Царь рассмеялся.

— А хоть бы ты и отказался! Тебя бы насильно, под белы ручки, привели! А коли б не пошел — застрелили, и дело с концом! Простой у нас приговор!

— Царь, ответь. Ты жив или ты мертв?

Толпа, наводнившая палату, замерла. Замер и Царь.

— Ты что это...

Юрод шагнул к нему и повалился на колени.

— Если ты жив — напои меня вином, накорми меня пирогом и отпусти. Не хочу я тебе изысканные яства стряпать. Я хочу...

— Жить хочешь?!

Царь заорал так, что треснуло и другое стекло.

— Отпусти.

Нагоходец стоял на коленях с закрытыми глазами. Он все и с закрытыми глазами видел.

— Сумасшедший! Милость ему предлагают! Приказ сейчас велю написать гусиным пером! И на площадях народу зачитать! О назначении нового царского повара нашим великим соизволением! Хватит тебе босиком по снегам шлепать! Не сожгут тебя на площади! Не сочтут святым! Не будут в церкви пред твоей иконой, юрод, бить поклоны! Свечи не будут возжигать! Акафисты голосить! А будешь ты у меня на кухне... между кастрюль и плошек... между тарелок, зелени резаной, лука, и черемши, и перца... между бочонками с северной сельдью и мешков с пшеницей, гречкой и ячменем... между горами ситной и ржаной муки... сновать!.. стонать!.. сидеть!.. хрипеть!.. на вкус варево из ложки пробовать!.. от усталости валиться!.. мокрый лоб и рожу красную тряпкой отирать!.. все на свете проклинать!.. а готовить мне такую еду — м-м-м-м... вкуснее не сыщешь в целом свете!..

Царский люд на каждое слово кивал.

Василий терпеливо ждал, пока Царь перестанет словами-семечками сыпать.

Говори, говори, да не заговаривайся. Я уже наслушался. Надо смириться. Останусь тут. Такова птица-судьба. Ангелица, ты махнула крылом. И вот я здесь. Слушаюсь тебя. Жду — тебя.

Он раскрыл глаза.

— Что на ужин сегодня вкусить изволишь, великий Царь? <...>

ЯСТВА И ЛЮБОВЬ

Блюда мясные. Блюда рыбные. Блюда крупяные. Разобраться бы. Все до чего хитроумно. А я из себя все здесь повара корчу. Ничего не напишешь, приходится исполнять царскую волю. А дожил я до таких годов, милая, родная, что я и смерть приму, и пулю приму, и пощаду приму, и пытку приму, и даже венчанье на царство приму, коли вдруг сподоблюсь; да ведь не сподоблюсь, я, юрод, житель одной звезды, они — другой; и никогда в смоляном ночном небе не пересекутся наши золотые пути. Смотрины, оно, конечно, не сочетание браком, однако чудища-люди, свита-прихвостни, уже сидят за поставленными буквицей «П» столами, уже ждут, перемигиваются, вертят

в пальцах вилки-ложки, облизываются. Еда! Человечья еда! И отличаешься же ты от зверьей! От той добычи, что зверь в тайге али в пустыне настигает, наваливается на нее, когтями прожигает, зубами терзает! Зверю никто не дает попить: он сам к реке бредет, сам в ледяную водицу морду окунает. А вам, люди, мы, слуги ваши, все на стол выставляем: и брусничный морс в кувшинах чешского стекла, и квас ячменный да изюмный, из погребца только, в расписной хохломской братине, и кофе африканский в дымящемся кофейнике; а уж о винах да наливках и речи не ведется, как их тут богато, на раскидистых столах. Мне кричат: почему мясо-птицу не велишь подать!.. И то правда, думаю. Сладостями сыт не будешь. Яблочки без кожи да без семечек, отваренные в сахарном сиропе, варенье из ирги вперемешку с терном, мелко нарезанная сушеная свекла, вяленый чернослив в мисочках рядом с чищеными грецкими орехами. Закрыв глаза на миг и вспомнил кедр, его дары, орешки его мелкие, молочные, меж зубов втыкай и — щелк!.. — и ядро, оно уж твое. Маслом растекается по языку. Эй, мальчишки, всунув голову в раскрытую кухни дверь, воплю, вы несите скорей дичь темномясую да прирученную птицу, кормленную вареным яйцом да старым огурцом! Взваром шафранным рябчика жареного полейте, окропите брызгами лимона. Вон она, фарфоровая тарелка с паштетом из гусиных потрохов, живо в залу тащите! А и самого гуся не забудьте! Ножонки на серебряном подносе вот как бесстыдно расставил! Жарили беднягу на вертеле, и жир капал с него в живой огонь, и на весь дворец умопомрачительно пахло праздником. А пороса ведь тоже у нас прямо с вертела! Не гаснет огонь живой! Пища огня требует руками разожженного, дровами насыщающегося, а не того, что течет по запрятанным под землю трубам! Ах, поросеночек, обложен ты стрелами лука изумрудного, усами капустки квашеной, дольками яблочек райских... да румянький же ты какой, да жалко же тебя как, а потом не жалко, а только, люди-люди, слюнки текут! Не утрешься! Не подберешь!

Несите, други, рябчика в гречневой россыпи! Несите куру во щах густейших! Несите утку, печеной грушей до глотки набитую! А Государю-то ставьте прямехонько напротив его лика — блюда рыбные! Рыба дорога. Рыба свежа. Ох, рыба знатна, только на Руси таковская в реках да морях и ловится!

Рыбонька с Волги, только сетью вытащена, еще в телеге на морозе хвостами больно била, когда везли ее во дворец, и тряслась телега на булыжниках, на замерзлых камнях, и прекращала живая рыба биться и дрожать, застывая на лютном нашем холоде, выпучивая жемчужные, алые, небесно-синие глазищи. Рыбий глаз алмаз. Мешки денег иноземные купцы отдают, чтобы нашего, русского, каспийского осетра купить, чтобы нижегородского судака или казанского сазана на кукуан вздеть да к ногам повара швырнуть!

Ах, Ксеньюшка, громаднющая та рыба была, просто невиданный, неслыханный Левиафан, когда ее пятеро сильных, мышцами мощных мужиков мне на кухню под жабры волокли! А после как ее топорами рубили те мужики, видела бы ты! И кровь из нее лилась, как из быка, разрубаемого пополам. И не было у нас таких чанов и котлов, чтобы погрузить ее туда и сварить, на радость почтенной публике; и пришлось распиливать ее на куски, и каждый тот кус еле в чан влезал, и бросал я в кипящую воду черные шарики перца, лакомства индусов, и лавровый лист из Киммерии, и серую горскую соль не щепотью — горстью, а рыба та зовется белуга, в Сибири водится подобная ей рыбица таймень в сильных, бурливо текущих реках — Енисее, Вилюе, Каа-Хеме.

Я орал на всю кухню:

— Стерлядь, приготовленная на пару! Щука, на куски разрезанная и по иудейскому обычаю мясом, маслом и резаными овощами фаршированная! Пирог с сомятиной

и луком жареным! Горбуша красная, соленая с берегов Амура, из нее же вытащена и наспех засолена икра алая, алее рубиновых сколов, все на блюде длинном тащите, не уроните, посреди стола осторожно ставьте! Лещи копченые, только в корзинах из Василия на Суре привезенные, подрумяненные, цвета коры дубовой, к поглощению готовы! Семга да лосось! Где семга да лосось?! Где форель?! Мальчонки! Втихаря сожрали?!

Мальчишки смеялись, Ксеничка, да лосося резаного тащили, да балык семги на фаянсовом синем гжельском блюде из кухни выносили, по коридорам и переходам несли, в пиршественный зал, потупясь, смиренно вносили, а чудища уже ножами взмахивали, изо всех сил притворяясь людьми; да что там звери-чудища, человек и сам поест не дурак, еда — главное, что удерживает на земле безучастного, даже умирающего. Отчаявшийся человек объявит сам себе голодовку: умру от горя!.. — да час наступит — поест, и легче ему станет. И дальше живет.

А я, Ксения моя, все дивился на изобилие пищи, челядью дворцовой потребляемой. Ведь только отзавтракали! И вот обед, сытнее некуда; а ведь и ужин впереди, и десять смен блюд должен я подать за часы ужина. Как в их утробы все это влезает? Не было мне ответа. Я, особо стряпать не ученный, обучился за это неназываемое Время всему, что с едою связано.

Стоять некогда. Надобно лепить, резать, бросать в пузырящееся на огне масло, пробовать из ложки обжигающее варево, и снова кромсать, гладить, рассыпать, солить, поливать, брызгать, мешать, отбивать, и опять лепить, резать, кровью заливать, любить.

Так готовится в жаровне Мирь.

Так быстро, жадно поедается он челюстями, клыками, жвалами, языками, глотками.

А Дух? О Ксения, где же возлюбленный Дух?

— Курник с ревенем и яйцами! Плов самаркандский с отборной бараниной! Пирог из теста песочного, рассыпчатые, с ломтями сыра внутри! Блины тонкие, будто китайская рисовая бумага! На деревянное блюдо блины кладите! Маслом, маслом топленным не забудьте полить! А вот птички, воробушки да жавороночки. Эй, пареньки, разложите на подносе как следует, красиво, чтобы как живые! Глазки ведь у них чечевичные! Клювики из корицы! А вот, да, летит ко мне сковорода! А на ней, осторожнее, масло еще кипит-безумствует, помогите мне, гора жареных карасей из царского пруда!

— А вина каковского прикажете к трапезе подать, господин повар?

— А вина-то? Да вин у нас в подвалах — пей не хочю! Вот и выберем сейчас!

— Вы и выбирайте! Вы тут главный!

Ксения, Солнце мое ясное. Я ведь до сих пор не привык, и никогда не привыкну к тому, что я на виду. И ко мне поворачиваются лица людей, как подсолнухи к солнцу. Я не Солнце. Это ты Солнце мое. Но ты вот живешь, по дорогам в мешке своем бродишь и о том ничегошеньки не знаешь. И не надо, чтобы ты знала. Любовь есть тайна великая. Она тайна для самого любящего, не только для любимого. Обоняй на расстояньи дух молитвы моей: смирну и ладан, и воскурения жаркие, там, за поросшим снежной полынью храмовым оконцем. Кто и когда нас повенчает в церкви? Может, никто и никогда. Солнце, Солнце нас повенчает. Ты странница под Солнцем. А Солнце есть звезда. Мы оба днем скитальцы под ближней звездой, ночью — странники под несчислимыми звездами Рая.

— Романею добывают из ящиков! Рейнское вот недавно купцы из Ганзы привезли!

— А наших, наших-то родных разве нету?..

— Как же нету, когда есть! Наливка вон малиновая! Настойка смородиновая! Красной смородины и черной! Водка хлебная! Водка яблочная! Водка сливовая, лучше водок всех!

Пусть возблагодарят Бога, что нынче не пост. И тем паче не Великий. Иначе никаких мясов-курей не волокли бы на пир!

Ксеничка, душа моя. Ты вот жизнь прожила, как и я же, по площадям шастала, по градам и весям слонялася, а не то чтобы не едала — оно понятно, — а и слыхом не слыхивала про такое ество: ни взвар сладкий с пшеном и с крупными ягодами черешен, сдобренный сладким южным перцем и шафрановым яблоком, ни горошек отборный, политый маслинным маслом, ни булка витая, щедро маковым зерном посыпанная, ни патока с резанным мелко свежим имбирем тебе, родная, неприхотливая, бедная моя, неизвестны навеки остались. И застыла бы ты, верно, в изумлении перед трапезным столом, накрытым вышитой мелким жемчугом скатертью, где те яства в ряд выстроились бы: так и вижу тебя, глядишь на ту еду удивленно, брови твои золотистые вверх, на лоб птицею летят, и радуешься ты, что человек сам себе такой радости наготовил, и понимаешь лучше меня, что это не радость, а прелесть, ибо чревоугодие, милая... и мать мне так из той толстой Книги Судеб читала... есть смертный грех... а кто же знает, какой из семи смертных грехов наитягчайший... <...>

СМОТРИНЫ ЦАРСКОЙ НЕВЕСТЫ

Множество гостей собралось в царском тереме на смотрины невесты.

Сначала Царь объехал на белом коне все площади Москвы; он желал их обозреть: горят ли костры, толпятся ли люди, бьют ли друг другу морды, встают ли друг перед другом на колени, рычат ли, яко медведи, танки, на площадь из серого волглого тумана вползая. Все было, как предписано: костры горели, люди толклись мошкаррой, нещадно лупили друг друга из-за повода пустячного — кто у кого из кармана наперсток стащил, кто кому в мочку рыболовный крючок продел; на колени друг перед дружкой вставали, прощенья просили, и танки из мрака надвигались, резали воздух ножевым визгом и пещерным гулом. Царь взирал на град свой Первопрестольный и радовался тому, что и он жив, и город жив. Москва не собиралась умирать. Как обычно, город стоял над пропастью гибели и, как всегда, смеялся радостно, встречая в виду смерти новое солнце и встающий день. Это привычно было, и Царь не собирался менять традицию. Царь хорошо видел врага, даже не видя его воочию; он оценивал его силу, сравнивал его со своей, и сам себе говорил: да, сила родного его народа поборет любую силу, что накинется извне, пытаясь Царство Русское подмять и пожрать. Находились советники, шептались ему на ушко: Царь, да ведь никто тебя и наш народ не собирается резать-убивать! Прислушайся к послам иноземным, приглядись, бормотали, зришь, как вежливы с тобой они, как мед неподдельный из уст их кувшинами льется?.. ну да, да, понимаем, дипломатия вранье, но нет в судьбе сплошного вранья, кое-где да истина ослепительно блеснет! Ты, Царь, их не на поле боя перехитришь — умаслишь здесь, на голубом паркете, на полнощном, с синей искрой, лабрадоре дворцового бытия! Речью, речью побеждай! Кровью победить всегда успеешь! Зальешь поля широкие кровушкой солдатской — что прорастет?..

Царь морщился. Играл желваками. Улыбался тонко. Царедворцы не понимали только одного. Там, где сражение, там и победа. А победу после боя далеко видать. Слишком яркая она. Реет в ночи знаменем. И засмотришься на него, и оно, вымоченное в крови тяжелое знамя, бархат красный, рытый, вдруг взовьется, ветер его подхватит и затреплет, сомнет гневно, а потом развернет мощно, расправит. Всяк увидит. Даже слепой.

И вот чтобы слепой то знамя увидел, и веду я, царь, войну. Уразумели, приспешники?!

Кивали. Мелко подбородками трясли. С коня снимали, чтобы сапогом за стремя не зацепился. Под локти в терем вели, и одна за другой распахивались двери в рас-

писные покои. Вот прошли спальней страха, вот миновали келью казней, вот прошли комнату Ада, все девять его кругов, прошагали коридором, где пушечные ядра и ракеты летят со стен над живыми головами, и вот раскрыта настезь последняя дверь, и нога через порог перенесена, и в резкий обильный свет надо войти, и оглядеться, и торжественно, в приветствии радушном, поднять руку, и шире, шире улыбнуться, и увидеть все лица, кривые-косые, смуглые и иссиня-бледные, изможденные и кругло-сытые, кукольно размалеванные и зеркально-бритые, головы в касках и буденовках, карнавалю завитые на горячие спицы и седые, старые, цыплячье-общипанные, жалкие; увидеть всех, кто видит его, и послать белозубую снеговую улыбку каждому, кто тут в его честь ест и пьет... А ввели ли в зал и усадили ли за стол невесту? ах нет, великий Царь, с минуты на минуту ждем!

И еще раз дрогнула закрытая дверь. Разошлись створки деревянными крыльями. Ее не ввели на пиршество под белы ручки; она шла сама, бесконечно, беспредельно, неостановимо улыбаясь такой длинной улыбкой, что она срывалась с ее раскрашенных рябиновой краской губ и медленно, радостно уплывала в темень за окнами, в спящие грозди нависших над бокалами и салатами люстр, а сделав круг почета по искрящейся хрусталем и фарфором зале, облетев круглый, рокошущий ропотом стол, возвращалась к хозяйке и намертво приклеивалась к дрожащему, ждущему рту.

Василий, в поварском белом халате, как не царский повар, а простой московский лекарь, стоял близ дверей, борода его гуляла на свободе, а темя все равно покрывала высокая белая башня кухонного колпака. Он склонился в поклоне, когда невеста, в длинном платье ярко-синей парчи, вошла в залу. Она, не задерживая взор на слуге в белых одеждах, шествовала дальше, с пятки на носок, каблучок цок-цок, по радуге искусного паркета, по деревянной мозаике веков, и он увидел — спина красная, и кринолин сзади красный, и шлейф.

Цвет небес и молитвы, цвет Богородицы сменился огнем. Ей все понятно. Она знает тайну Двойного.

Свита еле попевала за ней. Шаг ее был веселым и широким. Она сразу увидела Царя. Он стоял возле кресла, украшенного красными лентами и бантами: будто сотни красных птиц спорхнули с люстры и уселись на спинку и полированные подлокотники.

Стоял и будто ждал ее. Или и правда ждал?

Он привык, что все всегда его ждут.

Невеста быстро подошла к Царю, прижала руку к груди и низко поклонилась. Не земным — поясным поклоном.

— Здрав будь, великий Государь.

— Здрава и ты будь, красна девица.

Она выпрямилась. Василий видел ее профиль. Зеленый глаз горел акваарином, ярко-рыжие волосы заплетены в косу, коса лежит на груди красной лентой: алое на синем. Красная молния в синей грозе.

— Твоими молитвами, Царь.

— Твоими молитвами, красна девица.

Как жадно она глядит на него. Обглядывает всего. С головы до ног. Глазами вонзается в глаза. Знает, как обиходить Миръ Невидимый. Не еда, не питье ей не соблазн. Она сама соблазн. От нее самой Царь с ума сойдет.

— Царь... бойся... по лезвию бритвы осторожно иди... невесомо беги... я тебя проведу...

Василий не слышал, что и зачем он бормочет бессвязно. Царь взял в обе руки руку невесты, наклонился и тихо поцеловал.

Василий видел, и все в застолье видели: девчонка ему понравилась.

Знатного рода? С улицы взята, приبلудница, лицейка? Давно ль ее готовили Царю показать, так стряпают торт, пирог, ахая, охая, обмазывая верхний корж медом, старательно посыпая клюквой в сахаре?

Царь не стал тянуть кота за хвост. Схватил руку девицы и высоко поднял над пирующими.

— Внемлите все! Перед всеми, перед всей Москвой белокаменной и краснокирпичной, стеклянной и оловянной, перед всею родною землей, богатой и грязной, великой и нищей, ненавидимой врагами и нами до смерти любимой, объявляю: эта девица нарекается моей невестой и вскорости наречется венчанной женой моей, великой Царицей!

Все повскакали со стульев и кресел. В руках замелькали бутылки шампанского. Пробки летели в потолок. Ударялись в стекляшки итальянских люстр. Бояре подставляли бокалы. Шипучий напиток лился, струи перевивались, запах давленого винограда разлился по шумной зале. Голоса сливались, катились, и Василию казалось — гремел, падая со скалы, водопад.

Жениху и невесте поднесли полные бокалы. Царь зазвенел бокалом о бокал нареченной. Она улыбнулась. Опять длинная, тянущаяся вдаль улыбка, тоньше нити, нежнее музыки, убежала с ее лица.

— Не помнишь, как меня зовут?..

— Почему же. Помню. Здравие твое, Катерина.

— Здравие твое, Царь Иван.

Выпили.

Запрокинув головы, пили заморский смешной, пузырящийся напиток из цветных бокалов, в руке у Катерины — ядовито-зеленый, в руке Царя — огненно-красный, и, допив, невеста сказала:

— Ты будто кровь пьешь. — Вздохнула. — Божию. Причастие. Кагор.

— А ты зелено вино. И очи твои зелены. Змеиные.

Оба тихо засмеялись, ласково. Смехом ласкали друг друга.

А потом сели за стол.

— Чего желаешь, Катеринушка? Все у меня есть для услады и живота, и духа. Посуда, гляди, заморская, стекло да белая глина, а наша-то родная, древняя, сплошь ветками Эдема золотыми и клюквой камышовой разрисованная, тоже на столе! Блюда и тарелки отчего-то все любят оловянные. Я велю их расписывать по ободу позолотой. Художников много под мышкой держу. И богомазов, и посудников. Вина сегодня тоже буду пить и велю то вино наливать в серебряный кубок, фиалом его иноземцы кличут. Гляди-ка, и рог изобилия нам с тобою водрузили! Вот прямо перед нами! Золотой рог. Кисти винной ягоды из него до скатерки свисают! Мандарины катятся... орехи золотыми глазенками глядят... эй! — Хлопнул в ладоши. — Жареного павлина сюда! Моя суженая проголодалась!

Слуги, подобострастно приседая, внесли на огромном, как площадь Красная, блюде жареную птицу, румяная корочка маслено блестела, в жир гузна были воткнуты роскошные, темно-синие и слепяще-зеленые перья, на каждом пере горела, плыла, уплывала круглая, брюхатая, золотая китайская рыба.

Невеста повела глазами. Глаза тоже стремились уплыть с ее побледневшего лица.

— Да ведь это же птица Феникс, великий Государь. Она из огня возрождается. А ты ее в огне сжег. Огонь к тебе в гости, разгневанный, явится. Берегись.

Царь выслушал ее, беззвучно смеясь. Одним глотком допил шампанское.

— Не боюсь огня. Я и тебя из огня вынесу, если огонь тебя обнимет.

Из-под стола, отогнув снежный водопад камчатной кистеперой скатерти, вылезла девчонка. Тощие коски по плечам прыгают; тощие лопатки из-под холстины платьишка торчат; острые локоточки душный винный воздух бьют живыми молотками. Глазенки слишком светлые. Такие у чаек-альбиносов бывают, оттого что слишком долго, на лету, глядит птица в слепящие небеса. Девчонка, стуча по радуге паркета босыми пятками, резво подбежала к Василию. Дернула его за искалеченную руку.

— Эй! Дяденька! Ты тут Царю еду варишь-паришь?

Василий наклонился к девчонке и погладил ее наждачной ладонью по гладко причесанной русой головке.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю!

— Угощайся! За стол садись! Прикажу тебе фарфор да хрусталь подать!

— Не надо, дяденька! Я сыта!

Глядела хитро, глазенками посверкивала.

— Откуда я тебя-то помню?

Он лоб потер, припомнить силясь. Пир гудел, стонал, охал, бокалами-рюмками звенел и ржал лошадино.

— Ниоткуда. — Она плела языком, будто чуть подпила и забывала, и коверкала, и на ходу вспоминала слова. — Ты по войне все плачешь? Брось! Она была, есть и будет! Ее никто не убьет! Даже я!

— Ты?.. — Он рассмеялся. — Ну ты богатырша!.. Я тебе — копьё подарю...

— Не надо. — Ее лисье личико опечалилось. — Оставь себе копьё-то! Ты — на войну пойдешь! А я тут останусь, во дворце... и буду думать, думать, думать, думать... как ее победить... нет!.. как людей победить... ну, чтобы они совсем-совсем другими стали... и враждовать перестали... Правда... правда, для того люди должны жить не здесь... не на земле... а в другом месте...

Василий ниже, ниже наклонился к бормочущей небесную чушь девчонке.

— А где?.. Где?..

— В Раю...

Внесли два блюда икры — икры осетровой, цвета нефти, и икры красной, лососевой, с Дальнего Востока, — и в квадратном железном коробе, покрытом цветной эмалью, студень из телячьих и свиных ног. Вносили окорока, кровяные колбасы, связанные темными липкими кругами, копченую грудинку, нарезанный говяжий язык, залитый маслом, чесночным соусом и посыпанный мелко резанным репчатый луком. Вносили дыни и арбузы, среди зимы дивные; изумленно, черными овалами открывши жадные рты, глядели на бахчевые пахучие, громадные ягоды облаченные в атлас, кружево и модные смокинги важные господа.

— Ух ты!..

— Ах ты!..

— Взрезать, взрезать вон ту дыньку, золотистую!..

— Господа, повремените, похлебки несут...

Василий глядел внимательно, печально на все это великолепиие. Поднял седые брови домиком. Все мысли, которыми он думал думу теперь, отражались на его лице, бежали волнами, били в лоб прибором морщин. Он глаз не сводил с невесты и жениха. Вон оно и произошло, вот и случилось. Когда свадьба?

Они сейчас шепчутся о свадьбе. Нельзя ему ее за себя брать! Нельзя!

Он слышал, о чем они говорили, и не слыша их.

— Когда назначим свадьбу?

— Да что тянуть. До конца месяца. Зачем ждать!

— Ты права. Я не люблю ждать. Хотя ведь царское ремесло таковское. Выждать да внезапно стрелять. Чтобы все ахнули.

— Поняла. Если ты близко, покажи, что ты далеко. Если ты далеко, покажи, что ты близко.

— Что это?

— Китайская доктрина Дзэн-Шу.

— Уважаю китайцев.

— То-то на Москве любишь гулять, по Китай-городу.

— А ты меня там видала?

— Не раз. Я поблизости гуляю.

— Во храмы Божии заходишь? Службу стоишь?

— Нет. Я сама себе храм.

Она усмехнулась долго, нежно. Молчала.

Тощая девчонка с белыми косками подмигнула Василию и уползла под скатерть, из-под вьюжных камчатных кистей мелькнули ее босые пятки.

Василий не осознавал, как от двери, где он стоял навтыжку, наподобие стражника с алебардой, он медленно, как во сне, в зазеркалье, нога за ногу, приближался к царскому столу.

— А! — царь обернулся, поигрывая серебряной вилкой. — Повар мой! Искусник! Умелец! Вообрази, Катерина, — обвел весь круг стола растопыренной пятерней, — он это все сам сварганил! Ну, не без помощи поварят моих, разумеется. Но какова живопись! Какая роскошь! Размах!

Рыжекосая невеста измерила Василия зрачками: туда-сюда, вверх-вниз.

— Ты молодец. Тебя как звать?

— Василий его...

Царь не успел договорить. Василий поднял десницу. Его будто кто вел, под руки подталкивал, голос в нем пробуждал.

Ксения, спасибо, родненькая. Час пробил.

— Царь! Да, я повар твой! Но пробил мой час! Разреши покинуть кухню твою! Не в ней дело мое! А вели мне пойти на войну!

У Катерины глаза расширились, болотная зелень так и хлынула из них, затопила юрода; Царь плотнее сжал губы и зубы, молчал.

И Василий молчал. Он доподлинно знал: не надо слово ронять, ежели не просят.

— Будь по-твоему. — Царь сказал это слишком тихо, но через общий застольный шум и гам Василий все равно услышал. — Времени не теряй. Собирайся. Нет ничего тяжелее и легче Времени. И камнем давит, и крыльями дрожит. Ступай!

Через всю пиршественную залу Царь перстом указал на дверь. Невеста тронула жениха за рукав.

— Кто же у тебя на кухне поварским делом будет теперь заправлять? А?

Царь усмехнулся, молнией мелькнула полоска зубов.

— Я сам.

— Не шути! Дошутишься!

— Пугать меня?!

— Я любя!

Лунно-круглое, румяное лицо Катерины сыпало смех, зеленые стрелы из глаз, щедрую, жемчужную, потустороннюю красоту. Рыжая коса развилась, красные волны заструились по плечам, по спине. Она взяла в горсть тяжелые волосы и откинула за спину, как сноп.

Василий шел к двери.

Все, что происходило, было уже записано тяжелозвонкими, сыроземными письменами в толстобрюхой Книге Судеб, что любила читать знахарка Марина: все вышептала лекарка перед двумя жарко горящими свечами в мятной, ладанной полутьме нищей сибирской избы.

ВАСИЛИЙ — КСЕНИИ

Солнечная моя Ксения! Ни сном ни духом не чуял, что окажусь здесь; но таково, видать, мое предназначение — есть непреложный закон, по коему человека Бог помещает внутрь того, чего человек боле всего боится; так и я был помещен в точку наибольшего пламени. Солдатские души в Ад не идут: грешник лютый, бояся в войсках, уже заведомо прощен, если он воюет за правое дело.

Перво-наперво осмотрелся; должен был понять, почему я не солдат простой, а генерал; и в чем мое генеральство заключается, и как я должен окормлять моих воинов, чтобы они поняли, что не они тут хозяева, вовсе не они, а Тот, Кто выше их и сильнее, Кто не говорит, а только делает. И, понявши это, плачут люди горько, но тяжкого, необходимого труда не оставляют. Все для фронта, все для Победы! Это и есть геройство. Без него нельзя. Как и без трусости: и солдаты, и офицеры тоже слабодушны бывают; но не может быть трусом генерал, и не может быть трусом адмирал, и не станет дезертировать с поля боя маршал, и никогда высочайший владыка не сложит оружие перед врагом.

Ксения! Что есть враг! Аз емь грешный Василий, и жил я на земле, и по снегу бо-сиком шагал, навроде тебя, родная, и воду пил из лужи, аки воробей, и сухою корочкой питался, и подавали мне из жалости. И гнали меня, и пинали в бок ногою, будто пса смердящего, и помоями из окна поливали, и пальцами под ребра на морозе тыкали: ты, нагой дурак, спляши на снежку впрысядку, спляши! Но я чувствовал себя некоронованным царем моих площадей, не венчанным на царство владыкой всея Москвы, и ходил я по Москве, любовно раскинув руки, в объятии сем вечном от счастья тая, сердцем все обнимая — и голубку малую, и башню высокую, до небес, алую, и ночь великую, звездноликую! Иные люди кланялись мне земно либо в пояс, а иные почитали меня врагом; но я-то ведь с ними не сражался. Моими врагами не были они! А я молился так: ну, ребята, коли я вам враг, так изничтожьте меня, забейте до смерти камнями, зарубите саблями на Красной площади, засекуте алебардами, исколите кинжалами, и покойно вам будет, милые! Не слышали они.

И тогда я об том молился молча. Неслышно.

А тут я генерал, и предо мною враг. А подо мной мои подначальные — железные танки и парни в них, танкисты. Когда-то войны вели всадники и лучники. Те войны и теперь идут; они просто, Ксения, переселились в кудри облаков, в широкое слезное небо, там тучи дождями плачут о них, молнии мечами сверкают и шашками, топоры ветров обрушиваются и мирь от войны отсекают. А мы здесь нашу работу ведем.

Танк встает против танка. Железную броню обтекает вихрящийся снег. Танк такой горячий, что снег тут же тает, прикасаясь к нему, превращается в воду, и слезы горячей воды стекают по железному, в окалине, корпусу, и не высунуться сейчас из люка танкисту, ибо идет бой. И бой тот, Ксения, веду — я.

Самое страшное, родная, это атака. Ты солдат, впереди твой враг, и между вами никого, кто бы вас защитил. Нету миротворцев. Есть Тот, Кто превыше всех. Никто, как Бог. Бог устроит все. Я это понял лишь теперь. Хоть и нес я всю жизнь крест моего огня пророческого, но только здесь я понял ясность и судьбу.

Я ничего не знал про пехоту, про артиллерию, про саперов; я узнавал это ценою крови, и я путал собственную кровь с пролитой кровью воинов моих. Крови мешаются. Нет различения. Ты еси армия, и армия есть ты. Вас уже не разрубить. Твоя пехота должна дойти до линии обороны. Твоя пехота должна защитить твои танки. Смешно звучит, правда — живые люди должны защищать железные страшные громадины! Но это так и есть.

Я научился прикрывать фланги. Я научился закреплять удачу моих танков.

У продвижения танков есть маленькие победы; настанет день, когда все победы соедятся и обратятся в одну большую, и железо рассядется, и из гигантской черной, бездонной ямы вымахнет к солнцу нежный цветок. Победа не громоподобна, а нежна. Знай, Ксения, что Победа вся залита слезами. Вся мокрая, отчаянная, соленая. Живого места нет.

Движение! Танки мои движутся. Они идут только вперед. Огонь! Танки мои стреляют огнем. Первые дни, прибыв на фронт, я таращился на огонь, как на те ночные костры на площади Красной, помнишь? А надо мной втихаря хохотали солдатики: что, забоялся, генерал?! Гляди, любуйся!

Только Бог все видит и все может, Бог все знает-ведает и каждую минуту и каждую секунду прощается со всеми.

Вера моя в тебя, родная, в твое прощение. Я всю мою предыдущую жизнь воевал противу сатаны за любовь людскую, а теперь, Ксенька, видишь, — за тебя. Верь, счастливая моя, я никогда не дам тебе погибнуть. Как молитву, повторяю, под гром орудий: все будет хорошо, Ксенья, все будет хорошо, авось Бог зла не попустит.

Перепутал я давеча все времена. А ты, ты у меня одна.

Я вот теперь думаю, что ежели бы Суворов либо Кутузов были живы сейчас, они бы на меня ополчились. Приказали бы меня солеными розгами высечь. То, что я говорю солдатам, нельзя говорить; то, что я делаю, нельзя делать. Я знаю, что нельзя. Мне этого никто не говорил, а я знаю. Все мои солдаты там, внутри танков, быть может, умнее, чем я. А кто глупее всех — меня не осудит. А кто добрее всех — пусть на врага крепко обозлится. Доброму трудно злиться, тяжело. Для него обозлиться — все равно что себя самого в кровь избивать.

Кто-то может сказать, что мой защитный колпак лопнул. Не железный колпак, какой мой дед Иван, страдаая, носил! Нет. Иной. Иногда чую: будто вокруг меня невидимый громадный, в мой рост колпак, прозрачный овал, и сияет-переливается речным перламутром, и золотится на туманном, сметанном солнце, а потом вдруг — щелк! — и лопается. И вытекает наружу нежная вода, как из брюха у бабы при родах, и я, утирая слезы, вдруг начинаю понимать все живое. И с ужасом спрашиваю себя: как?! Василий, как же это?! Почему же ты, столь любящий жизнь и любовь, да кромсаешь жизнь направо и налево, да убиваешь любовь, расстреливаешь ее в упор?!

Негоже мужику плакаться. Главное дело — не во мне, а в герое. Он здесь, в моем танковом войске. И я его не знаю. В атаке погиб или в тяжком бою, спасли, перевязали медсестрички, или остался в польхающем танке. Где он? Он здесь. Он есть. Он так и остался безымянным.

Жаль мне, что ты не видишь сей момент моих танковых полков, танковых батальонов моих. Думал ли я, царский повар бессменный, палец в сладкое варево, в терпкий соус окунающий, что буду лик мой окунать в горячий ветер боя, буду выкрикивать хриплые, страшные команды, их не исполнить — себе приговор подписать! Танки наступают, танки изрыгают огонь и беспрерывно движутся. Движение танка — его удача. Счастье его. Застывший танк — мертвый танк. Мертвец, железным скелетом наружу. Вот прикрывают товарищей мощным огнем; вот на чудовищной скорости пере-

брасывают железные туши к новому укрытию. Быстрота, я им всегда ору: быстрота и натиск! Первейшие заповеди воина! Не соблазняйся на то, чтобы противника умертвить; еще успеешь поразить его. Веди огонь по цели, опасной для тебя. Ее — изничтожь. Сожги в ржавые ошметки пулеметы и минометы, зенитки и ракеты. Твой огонь — драгоценный огонь. Веди его прицельно. Я, повар, варганил на кухне пирог и сперва задумывал его, и воображал его, и мысленно смаковал его. И ты вообрази поражение врага и твою победу. Большая воинская удача складывается из серебряной цепи маленьких побед на поле боя.

Не теряй из виду родную артиллерию — она твоя верная сестра, она подставляет тебе плечо. А вражескую артиллерию погуби! Уничтожишь ее — враз ослабишь противника. Ах, Ксения, видела бы ты мою пехоту! Да танки, знаешь, опасны для пехоты; ежели неумело командовать, танки могут бедняжку пехоту запросто задавить. Танки слепы. Они железны, громадны, страшны и незрячи. Они не видят ничего. А люди, людишки такие крохотные рядом с ними. Божии коровки.

Не медли, танкист! Ты не железная гора! Ты должен двигаться стремительно, умолимо! Чуть замедлишь ход — и все, ты легкая добыча! Ты, железный медведь! Я, живой медведь, вижу все насквозь и командую тобой. Что, Ксения, жесток?! Страшен, зол, отвратителен?! Однажды мне сказала старая бабка, в три шерстяных платка закутанная, нашедшая меня на Красной площади под фонарным столбом; она так сильно, мучительно вцепилась мне в плечо, синяки отпечатались на моей голодной коже: «Эй, лохмач!.. Ежели доведется тебе с кем вести битву — сразу убивай, не гляди на то, что он живой, как и ты же!.. Не жалея врага, никогда не жалея!.. Бей наотмашь!.. бей первым!..» Старуха, спросил я тогда, а что же ты, старуха, речь о таких страстях завела?.. глянь, денек-то солнечный, снег весь в золотинках, в небе легкие облачка рыбами играют, синь чудесная густым вином прямо в душу пьяную льется... а ты тут мне да про убийство! Эх тебя разобрало, старуха! А она, веришь ли, Ксения, на меня так возвела острый прищур, так зрачки свои в меня воткнула, что пот потек у меня по спине, между лопаток. Да и процедила сквозь беззубые челюсти: «Вижу тебя, косматый ты голяк, в генеральских одежонках, на поле брани, и длань свою простираешь, и куда бить, указываешь. Так-то!» Она пророчица была, та старушня, так думаю.

Быстрота! Быстрота! Пехота, помогай нам, танкистам! Вот он, бой! Я его лишь в видениях созерцал. Наяву он еще ужаснее. Пехота бросает гранаты, наостряет штыки. А танки прикрывают ее огнем. В бою важно в своих не попасть! Спросишь, как я это делаю? С высоты наблюдаю. Сражение зрю. Волосы дыбом. Я не баба, очми плакать не могу; сердце кровью плачет. Да в бою чувства исчезают. Все: горечь, жалость, боль. Может, лишь одно остается. Страх, обращенный в полное, безоговорочное приятие смерти.

Атака — вот что главное! Атака — наша вера, наш военный Бог! Вычислить слабое место врага — это надо суметь. Я — уже умею. И наносить в то уязвимое место мощный удар — отдавать приказ научился. Я уже крещен огнем, Ксения. Я его, огонь, лишь на площадях видел: костры, костры горят, ночь собою возжигают! И я сам похож на костер, борода моя огненная, волосья на башке огненными языками в стороны торчат, изгибаются, шевелятся, вздрагивают. Ночь седым золотом целуют. И знать не знал ведь, лунная, зимняя, бедная моя, что я в самой гуще боя окажусь; и огонь буду вести из укрытий, и в чистом поле наблюдать режущие воздух полосы огня, и зреть, как огонь охватывает избы, овины, плотины, сараи и риги, бегущих людей, сухую, в инее, траву.

А иногда, знаешь, вражеские танки сидят в засаде. Вот это хуже всего. Ты не знаешь, где они. А тебе надо их обнаружить и стереть с лица земли, огненной ладонью

смахнуть. И чтобы железные гусеницы во ржавь обуглились, в пепел истлели. Нам пасовать нельзя! Враг всегда чувствует, когда у противника является слабина. И твоя задача — не дать ему твой просчет увидеть. Ты — сильнее! Даже если ты слабее! Помни: уничтожить! Другого не дано.

Жалость? Снисхождение? Сочувствие? Не должен умереть — ты. А он — пусть умрет.

Ксения, не удивляйся, не закусывай губу до крови. Здесь свои законы. Они не писаны никем. Они существовали изначально, всегда. Нигде, ни в какой древней Книге Жизни ты их не найдешь. Ты их можешь только услышать внутри себя. По складам повторить. Пусть лицо твое заливают слезами. Не отирай их. Пусть льются. Они смыывают с души у тебя накипь столетий. Поле боя — Божие поле. Гибельный огонь — Божий бич, свистящий бич. Нет Господня приказа прервать бой. И никто не знает, когда он раздастся. И раздастся ли.

Может, так нам, Ксения, суждено...

Поклон тебе, радость моя, низжайший, до земли. Молюсь за тебя денно и ночью. Нет у меня тут зеркала, чтобы поглядеться в него и увидеть себя: да, и впрямь генерал, и генеральская форма на тощих телесах, как на высушенной доске, болтается, и орденские планки вот, и непонятно, за что мне их выдали: может, и правда я где в бою вчера отличился, да вот сегодня забыл. <...>

ТРОЕ В ВИДУ АДА

Она выросла пред ним из-под земли — из-под зыбучего, сыпучего ржавого наста, унизанного жесткими перлами навек застывшей снежной крупки — из-под сплетения ивовых корней — из-под необъятных пней-выворотней, сходных с обгорелыми морскими, многоногими спрутами; выросла и задрожала, заискрилась, захохотала нежно, неслышно, закидывала голову, поводила изумрудами очей туда, сюда, словно искала и не могла его найти, ах, вот же он, я так долго приценивалась, примерялась, а вот поди ж ты, из грязи в князи, рос-рос и вырос, и к присяге подоспел, и над танками начальником встал, ишь, ногами в сапогах — в горелую землицу уперся! Ну-ка, ну-ка, поглядим-ка, как ты мне — мне!.. — сопротивляться будешь: я не воин, ни шагу назад, я не начинаю жизнешку с нуля, я сама — нуль, зеро, красное зерно, в пашню, размахнувшись, бросишь — морями крови хищно прорасту!

Он глядел на нее, а вот не надо было глядеть: в раскосые, широко подо лбом стоящие, пылающие закатной зеленью глаза, на бархатный пергамент намазюканной телесною краской скулы, на кровавое коралловое ожерелье, тесно обнимающее ствол шеи; он — через нее — на всю ее жизнь глядел, и он знал, что происходит, зачем ее жизнь внезапно оказалась перед ним и широким журавлиным крылом наложилась, наслоилась на его непонятную жизнь; он понял: его хотят захватить, он — вражья сила, он — земля, кою необходимо повоевать, и вот-вот это случится, не отвертеться, и только молиться и радость призывать, его чудо, его упование и спасение.

Ксения. Не покидай. Не дай меня ей. Спаси и сохрани. Ксения, ты ведь голос Господень; я слышу тебя всегда.

Чудо явилось. Тесное пространство его военной землянки раздвинулось, раскрылось прозрачным, многолепестковым веером. Расцвела землянка черной нимфеей. Рыжекосая женщина сделала шаг к нему, а он спиной, лопатками увидел, как сзади, из дышащего небытия, выступила другая женщина в ободранном старом, из-под картофеля, мешке, мешковина разлезалась под руками, под веками, и смуглое тело просвечивало сквозь ветхую рабочую сеть измызанной ткани; женщина шагнула к нему и шагнула еще, и вот она уже за его спиной, подошла вплоть, он чувствует ее горячее ды-

хание, слышит простудные хрипы в ее легких, ощущает тонкий, чуть слышный запах озерных кувшинок от ее развитых, распушенных по плечам и спине, золотых, со щедрой сединой, волос.

— Ксения!..

Рыжая тоже шагнула вперед. К нему.

И тоже слишком близко встала. Грудь к груди. Живот к животу.

Его гимнастерка едва не запылала, не вспыхнула зарей от жара Адова.

И сзади шел живой жар. То струилось солнечное тепло. Благодать. Телом, как и губами, тоже можно целовать. Бездвижным телом можно сражаться: оно замрет в великом покое, но там, за спиной, душа раскинет широкие крылья.

Две женщины стояли друг против друга, а посередине бородатый, косматый святой генерал: под перекрестным огнем Ада и Рая, под огненным дыханием благодати и проклятия.

ФРЕСКА ТРЕТЬЯ. В АДУ

ВАСИЛИЙ СПУСКАЕТСЯ В АД

Я шел, как по воде.

Я уводил людей и самого себя от беды, ибо видел: теперь люди никуда, и сам я никуда, и мои пророчества живут только благодаря беде.

Я понимал: война есть зло, но как же прожить без зла на широкой земле? Тогда мы зла от добра не отличим. А может, и отличим? Может, нас, горемычных, всю жизнь этой ложью кормили: свет — мрак, жизнь — смерть?

Я шел, и я уводил душу мою туда, где ей надлежало быть: я с этим послушанием родился, я понимал: мне надо излечивать, гладить по головам, горько улыбаться тем, кто не то что смеяться — словца произнести не может.

Я шел сквозь крики и стон, — я шел к тем, кто погиб, и вставляли предо мною ушедшие, тесней смыкался их строй, и я шел мимо них, как от века генерал идет перед солдатским строем, перед взводом и ротой, перед многоглавым батальоном, я глядел им в глаза и не мог им солгать, и я неслышным, горячим шепотом говорил им только правду. Им важно знать одну истину: завтра я умру. Нет. Сегодня. Меня не станет. Но я умру во имя Родины моей.

Я шел и глядел в лица моих солдат. Они стояли передо мной навтыяжку, в шатком строю, а как будто спали; сапоги их облепила жирная грязь, родная земля, они глядели мимо меня и поверх меня, и я понимал: они знают все о смерти. А я глядел на них так, будто всем им был отец и всех их, без разбору, любил. И всем надо было отменную еду приготовить. И всех до отвала накормить. И всех приголубить, по затылкам погладить. Моя шершавая, как рашпиль, ладонь, вся в земле! <...>

Я шел вперед, и я хотел, чтобы за мной шли люди, и они снимались с мест, выходили из строя и шли за мной, и видел я зрячим затылком: они без жалости оставляют в прошлом свою надежду свою, и они идут за мной, не зная, куда я их приведу, а через миг, равный вечности, уже зная об этом.

Я шел, и я хотел оглянуться назад, на людей, идущих за мной, и сказать им: не ходите за мной! не поддавайтесь соблазну моему! туда, куда я иду, ходить нельзя, запрещено!.. — но они упрямо шли, и не мне было их остановить.

Остановиться и я не мог. Мне было страшно.

Но ты, Ксения, ты шла тут, близко, рядом со мной.

Ты не держала меня за руку, а будто держала. Так тепло, тесно, будто пальцы переплелись и слиплись, я ощущал твою руку; я задираю голову, над нами сияли полнотные звезды, сверкающие ягоды в черной траве, и поле становилось то молчаливым в ночи полем сражения, то заснеженной равниной, без единого зверя, без затерянного человека, и воет метелица над белыми холмами, душу рыданием вынимает; то площадью широкой, и мы опять с тобою, родная, по той площади идем и глухим людям в уши — их жизнь выкрикиваем.

А они и слушать не хотят. И не слышат.

Во звездных небесах мерцали знаки. Звезды горели то светло, то черно. Склады вались в слова. Я, задирая башку, их читал, ледяной ветер развеивал мои косматые волосы, и я шептал тебе беззвучно: Ксения, страшно мне, — и ты поднимала ко мне лицо твое и улыбалась мне в ответ: не бойся ничего, нам с тобой уже поздно бояться.

Ты говорила: не бойся, ступай, все вниз и вниз. Мы с тобой идем туда, где мало кто из живых побывал. Владычица Ада хотела тебя туда повести? А видишь, веду я. Я тебя защищу. А она, низведя тебя во Ад, мечтает тебя сгубить; будь тверд душой, отринь страх, ступай тяжело и прочно, плотно приминай сапогом родимую землю, вминай стопы в ее текучую, липучую, сладкую грязь. Земля — застолье. Она яство. Ее надо приготовить: в котле — врагу, а потом черпнуть воды из кровавой реки и сварить на костре ушицу.

Для всех. Для нас, для них.

Мы шли вдвоем по белым полям, будто по Белой площади. Сегодня Белая, завтра Красная.

Ты мне шептала беззвучно: нет страха, нет боли, душа твоя тверда, и только сердце плачет.

И я слышал это.

И ты шептала мне: ты увидишь мучения, ты узришь безумие, будешь созерцать не людей, а тени, только не выпускай руку мою, только не отпускай.

И так же беззвучно я отвечал тебе: да, не выпущу никогда.

По полям, в логах, перелесках, оврагах, яминах лежали люди. Мы спускались вниз, все вниз и вниз, и я слышал громкий плач и тихий всхлип, и ни одной звезды не горело над нашими головами, а было так светло от снега, будто в сердцевине Млечного Пути мы шли, медленно шагая, как в далеком детском, позабытом сне.

И, слыша чужой плач и ловя дыханием чужие горькие слезы, плакал я.

Я слышал, как рвалась чужая странная речь, как громко, неудержно вскрикивали люди, выпуская из груди последний крик, крик сожаления по утраченной Земле; люди бормотали, сетовали, проклинали, гордились, клялись, рыдали, благословляли жизнь, Победу. Люди умирали внутри веры своей и уповали, что воскреснут, Господу подобно. А кто и не верил. Отрицал. Отвергал Миръ, в коем погибал, и самое смерть. Ярость мешалась с лютой болью. Ужас — с воздыманием, в последней любовной ласке, слабых, как атласные тонкие ленты, умирающих, лебединых рук. Жальба и гнев застывали в объятии. И все округ меня и под медленно, тяжело идущими ногами моими, в тяжелых армейских сапогах, сливалось в общий страшный, без конца без краю, гул, и века бурлили в небесном котле, как мое невероятное, безумное месиво, — я, сцепив голодные зубы, медленно готовил его, и, съединившись в булькающую солдатскую кашу, в чудовищный кровавый кулеш, века прекращали быть Временем; Время умирало, исчезало, а взамен обваливалась мгла, налетал последний вихорь, и кто-то дальний кричал, я различал слова: «Не вдыхайте!.. только не вдыхайте воздух!.. закройте!.. накиньте на себя простыню!.. накиньте одеяло!..» — и вдруг все эти разрозненные крики слетались, сбивались в один страшный, мощный хор, и вопль хора

сметал с лица Белого Поля все сухие ветки и обмерзлые скелеты недавно живых существ, людей, зверей и птиц, и оставался один крик — голый, длинный, отчаянный, неутолимый крик, вынимающий нутро, заклинаящий, проклинаящий.

Я спросил тебя, Ксения: отчего так мучатся они?.. — и ты ответила бесшумно: они умерли, а небо их не принимает, и земля тоже, и они летят и кричат между небом и землей, и ждут своей участи, и не знают ее, и плачут по ней.

Я попросил тебя: дай я в лицо им загляну, неведомым мученикам!.. — но ты потянула меня за руку, говоря мне пожатьем твоей руки: идем, идем, не останавливайся, остановка смерти подобна. <...>

<...> Снег бил в бубен земли вперемешку с дождем; и вот уже грязная, вонючая вода обильно полилась сверху; и дождь шел, подобно нам, быстро, тяжело, скользя по грязи, стекая по ребрам и потрохам ржавой кровью.

<...> Мы опять двинулись вперед, и перед нами замаячила разрушенная маленькая церковь, одна стена обвалилась от взрыва, три других еще держались, осыпаясь. Мы подошли ближе. Ксения задрожала.

Я с трудом распахнул обожженные двери и переступил порог. Женщины тихо вошли за мной. <...> Лики расстрелянных икон. Под разрушенным, в дырках, с торчащей сеткой арматуры, куполом пролетела птица, ударилась о стену, распластала крылья, навеки прилипла в полете к текущей вниз людскою кровью фреске, называемой: Сошествие во Ад.

КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРСКОГО ВОЕННОГО СОВЕТА В ИЗБЕ

<...> Он сделал шаг и опять застыл. И опять никто не него не смотрел. Они не видели его.

Он шумно вздохнул, и тут Царь вздрогнул, обвел глазами то, что в изобилии валялось на столе — бинокли, блокноты, густо исписанные бумаги, рации, револьверы, пистолеты, очки, авторучки, измазанные чернилами гусиные перья, толстые плотницкие карандаши, — медленно повернул голову и посмотрел на него. И, первый и единственный, в его сне увидел его.

Долго ждать не стал. Выкрикнул приказ.

— Стул ему! Не найдете — табурет! Не табурет — кресло! Нет кресла — бревно генералу катите!

Вперед, из-за изразцов, выступили два денщика, подтащили к столу табурет, поставили, потряся, проверяя, не подломятся ли ножки.

Василий сел, не сводя глаз с Царя.

Царь обвел глазами генералов.

Василий последовал взглядом за царским взглядом.

Как они глядят. Они же меня зрачками протыкают. Как они меня ненавидят. За что? За то, что успехи у меня в боях? За то, что я танкистов моих вышколил, геройски с ними каждое сражение вел? Что ни разу, да, ни разу не отступали мы?

Внезапно полярный, синий холод обдал его, и все внутри него, глотка, кишки, гулко стучащее сердце, обратилось в инистый, железный лед.

Не я ли к Миру живых призывал? И не Христос ли нас всех, и врагов и друзей, к Миру призывал? А что такое Мир? Рай? А может, все-таки Ад?! Господи! Разреши мне сомненья мои!

Зубы вонзил в губу. Не отводил глаз от совета.

И весь совет, во главе с Царем, прощупывал его глазами, ощупывал ненавистью, болью, подозрением, насмешкой.

Да разве генерал может быть верующим! Умоленным! Да разве поможет Бог в дислокации, рекогносцировке, атаке, отступлении!

Он знал имена всех сидевших за столом военачальников. Вот тот, с лицом белым как мел, с залысинами, с трубкой в углу страшного кривого рта. Он проиграл сражение под Смоленском. А тот, вон сгорбился над планшетом, поднял плечи, будто на груди птенца от кошки защищал, прятал за пазухой: сначала победа за победой, разгром за разгромом, а потом колоссальный обвал, бегство, гибель войска, и с трудом удалось остановить ужас и вернуть себе хотя бы часть утраченной чести взятием важной высоты. А этот?.. слишком много кудрей, слишком много лоска: красавчик, мажор, богатенький сынок известного папаша, и что здесь делает, неизвестно. Славу зарабатывает. А может, просто все происходящее как вино: рвутся бомбы, летят огненные стрелы, красные танки обращаются в красных стальных коней и вброд переходят кровавую реку, и все это возбуждает, опьяняет. Война — это ведь еще и до глубины души изумление: всеобщая смерть изумляет; как человек мог такое оружие изобрести, чтобы им — сразу многих, скопом взять да уложить?

А вон тот, вон тот... Маленький. Хмурый. Унылый. Толстый. Как сдобный колобок с забытой кухни забытого царского повара. Сидит, сложил руки на груди перекрестно, глядит исподлобья. А вот не надо обращать вниманья на его игрушечный, смехотворный вид. Он знает, что делает. Он воюет недолго, а в ставке сидит бесконечно. Он даже не красноречив. Двух слов связать не может. Мелет языком вроде бы чушь, а внутри словесных семечек проскальзывают точнейшие наблюдения и железно-верные указы. Плюйся шкурками слов! Ты съедаешь сладкие ядра. Ты мудрец. И сидит толстяк до поры. До нового кровавого пира. Он знает: он в нем победит. Где бы он ни был. В тылу. В штабе. На передовой. Хитер бобер. Отлично строит свою заправду.

Поэтому царь без него — не может. Поэтому и он здесь, на совете.

Игра в молчанку закончилась. Царь вздохнул шумно, прерывисто, и выдохнул:

— Ну здравствуй, Василий!

Василий встал с табурета. Отдал честь.

— Вольно. Сядь.

Василий сел. Табурет качнулся под ним.

— За нами Москва! — выкрикнул Царь.

Господи. Сколько же раз Ты, Господи, с небес слышал эти слова.

Подал голос полковник, сидевший на окраине стола. Он волновался, вертел в пальцах карандаш, вертел-вертел, ломал и сломал, и отбросил обломки; потом стал листать тетрадь с записями и с рисунками расположения войск, и страницы нагло шелестели. Полковник возвел на Царя прозрачные озерные глаза, на их зелено-голубом дне ходили голубиные сизые тени, он глядел печально и всепонимающе, сжал рот под пушистыми, тщательно расчесанными усами, иконописный карминный румянец взбежал на его бледные, снежно-белые скулы.

— Вы предлагаете дать сражение под Москвой? И во имя защиты столицы погубить всю нашу армию? Всю?

Полковник выговаривал это тихо, отчетливо, медленно, будто внушал нашкодившему ребенку: так нельзя делать, нельзя. Царь залился краской. Подавил в себе гнев. Обернулся к Василию.

— Глядите, какие размышления тут обнародуются, генерал! А что скажете вы? Биться нам до конца, смертно или позволить врагу хозяйничать на нашей священной земле?! Вы-то сами кто, генерал: миротворец или герой?! Нашей стране нужны герои! А не мямли! Да, погибают люди! Но если враг нашу землю повоюет — ни молодежи не будет, ни стариков, никого. Поэтому нам нужна одна победа! Я — так — считаю! А вы?!

Война — святое геройство. Война — Адово смертоубийство. Где правда?

— Правда в том, что я веду сражаться моих воинов. И они погибают. За Родину. За веру. И ни за что иное. Но ни я, ни ты, Царь, никто из нас не знает исход битвы. Мы знаем только ее движение. Ибо сами движемся вместе с ней. Где конец дороги?

Он воскликнул еще раз, уже громко, страшно.

— Где?!

Я как царь. Да ведь я и есть тут, теперь — царь. Я прошел кусок Ада. Я Ад вкусил, на зуб узнал. А они кто? Каждый по-своему воюет. По-своему герой. Не героев тут нет. Здесь всяк сейчас пойдет и умрет. А я? Как же я за царя умру, когда я и есть теперь — царь?

— Ишь ты, как повернул. — Царь покривил заросший усами-бородой тонкий, надменный рот. Он сейчас неуволимо стал похож на Катерину, коварную невесту его. — Но ведь у всякой страны есть голова. Столица. А во всякой столице сидит владыка. И суть важно, любит его народ или не любит. Хочет свергнуть или воспекает, перевозит. Он сидит на троне. Властвует. Иного ему не дано. Каждый исполняет на земле свое дело. Царь тоже. Разгромить столицу — посягнуть на царя. Замахнуться на царя — уничтожить святая святых. А святая святых есть у каждого народа, во всякой власти; это тайна внутри гробницы, внутри храма, дворца, подземного бункера, супружеской спальни. Святилище — это продолжение рода. Убьешь столицу — убьешь царя. Даже если царь сбежит в другую страну, под покровом ночи, охраняемый тучей стрелков, его все равно потом настигнет враг — и убьет. Тихо. Неслышно. Исподтишка. Коварно. Убьет! И все! И нет больше его! А кто есть?!

— Другой царь, — тихо вымолвил Василий.

Лохматые, страшные волосы вились у него по плечам, закрывали погоны. Борода свешивалась ниже армейского тугого ремня.

Царь всплеснул руками.

Все за столом слушали в гробовой тишине.

— Другой! Я, значит, негоден! И значит, повод теперь сместить меня! Снести чугунным шаром, как дуру кеглю! Так просто?! Так вот что такое?! Удобный повод меня — убрать?!

Василий снова встал с табурета. И более уже не садился.

— Город все равно будет разрушен. Так написано в древних письменах. Я читал их. Мне открывали небесную Книгу. Мать читала мне из небесной Книги, она лежала у нас на столе в сибирской деревне, и я не мог ее обеими руками приподнять, как ни старался. Город — то всего лишь строения. Здания. Пусть даже священные. Кремли, соборы. Я видел картины: башни разрушены, обвиты серыми листьями неведомых растений, руины храма медленно осыпаются, шевелятся мрачными водорослями, тают в подводном убийственном дне, похожем на ночь, растворяются во Времени, будто сахар в чае. Если будут живы люди, они дома их и соборы их возродят. Руки есть, головы есть. Из камней новую жизнь сложат. А людей, людей не так-то просто зачать и родить. Что ты выбираешь, великий Царь? Спасти людей — или спасти престольный Град?

Царь кусал губы. Искал слова. Седые пряди прилипли к его потному бледному лбу.

— О каком спасении болтаешь, болтун?! Теперь — спасения нет!

— Есть, — твердо сказал Василий. — Есть! Армия жестока. Войско жестоко. Сражение беспощадно. И мы готовы умереть. Но не все. Не все! Нам нужны машины. Танки. Гаубицы. Зенитки. Самолеты. Они управляются людьми. Нам нужна наша армия. Мне! Нужна! Моя! Армия.

Гул голосов поднялся за столом. Ярче возгорелись круглые солнца, обращенные в лики святых икон. Солнца плавали, ползали под потолком, били в лица сидящих,

а сидящие кричали, пытаются друг друга перебить, переорать, заглушить, заткнуть, никому из них это не удавалось, Царь морщился, он вынужден был слушать эту свару, люди превращались в собак и грызлись за деревенским столом, совет превращался в рынок, в оголтелое зимнее торжище, где каждый выхвалялся своим и торговал свое; и тут Василий поднял руку, и все враз поглядели на эту худую сильную руку, взметнувшуюся над лохматой медвежьей головой, сверкающую, среди икон-солнц, еще одним круглым маленьким солнцем, слепящим, мучительно горящим.

— Народы бьются и грызутся всегда. Мы защищаем себя, а иной народ заслоняет себя. И между ними Белое Поле, и там они колошматят друг дружку. Кто первый начал? Всегда большой вопрос. Если покопаться в событиях, пойдем: они все цепляются друг за друга. У каждого следствия есть причина. И вдруг причина обращается в новое следствие. И мы роём дальше, глубже, раньше: а что там раньше? Может, там-то и есть самая главная причина распри?! И — не докопаться. Никогда! Они себя не бомбили, они бомбили нас! Ага, вот она, причина! Мы озлились. Отомстить! И начали мстить. Враг на нас не собирался нападать!

— Как же, не собирался?! Что вы мелете, генерал! Вы дурак! — разъяренно крикнул малорослый толстяк, расцепив на груди пухлые руки; сверкнуло обручальное кольцо.

— Не собирался, — тихо и печально выдохнул усатый полковник, повторяя слова генерала, мял в пальцах карандашные обломки, горько улыбался, и глаза его тихо светились синей, серо-зеленой, осенней озерной глубиной, и нежные улыбающиеся губы взрослого, закаленного в боях мужчины внезапно напомнили детский плачущий рот, или для ночной молитвы сложенный, или для прощального поцелуя.

Полковник медленно, тихо перекрестился.

Царь глядел на него с ненавистью.

Перевел глаза на Василия.

— Ты пойдешь под трибунал!

— Изволь. Воля твоя. Всегда и всюду. Война сама захотела начаться. Внутри людского моря есть течения теплые и холодные, когда они наталкиваются друг на друга, Землю захлестывает военная жажда.

— О чем ты, юрод?!

— О том, что люди склонны обманывать друг друга. Есть первотолчок. Я не говорю, что нет врага. Он есть! Был, есть и будет. Человек человеку пока что не хлеб, а волк. Дикая медведь! И на дыбы встает! Два медведя, друг против друга! Шерсть против шерсти, пасть против пасти! И у врага, в недрах его судьбы, есть начало. Каково оно? Вдумайся. Надо не чувствовать, а думать. Сначала злоба. Потом, против злобы, обида. Потом, от обиды, боль. Потом боль обращается в ненависть. Потом ненависть не пережить; ее надо залечить, забинтовать; чем? А вот она, месть. Отомстить! А что такое месть? Это — война. Так все просто!

— Просто?!

Царь завопил так, что сотрясся потолок, зазвенели в рамах стекла, а откуда-то из-за сине-белых, ярких изразцов печи вывалился засохший хвостатый сверчок и черным бархатным лоскутом брякнулся прямо под ноги полковнику с озерными глазами.

Терпеть. Главное — держаться и терпеть. Претерпеть. Простоять и проговорить эту речь. Все сказать. Пока снится мне этот сон. Другого времени и другого сна уже не будет.

— Война сначала была перестрелкой. В нас стреляли. На границе. Но и мы стреляли. Нас убивали. На границе! Но и мы убивали. И никто ничего не объявлял. Ни ты, ни нам — чужой, иноземный владыка. Стреляли мы друг в друга, и все! А когда и гранаты бросали. А когда из огнемета друг друга поливали. Сидят солдаты у костра,

едят ушицу из котелка, а тут из-за кустов — лавина огня, и все — в головни, в пепел. И не надо печи изразцовой. — Он оглянулся, мазнул взглядом по старой изукрашенной печке. — Дрова, человек есть дрова. И для того, чтобы согреться зимой, он сам себя, да и брата своего, в печи времен сжигает!

Все за круглым столом молчали. Толстяк заплетал кисти скатерки в белую косицу.

— Пуляли-пуляли этак мы друг в друга, и что? У кого-то должно было лопнуть терпение. Да только не у тебя оно, государь, лопнуло! А у генералов твоих! Да, никто не объявлял войну! А все уже привыкли! Да все, весь народ, поверил тому, что глашатаи на площадях кричали! А кричали они вот что, разворачивая крупно исписанные, чтобы легче читать было на морозе, свитки: НА НАС ВЧЕРА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ ВОЗЖЕЛАЛИ НАПАСТЬ НАШИ СОСЕДИ! ОНИ ТОЛЬКО ПРИКИДЫВАЛИСЬ НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ! НА ДЕЛЕ ОНИ ВООРУЖИЛИСЬ ДО ЗУБОВ И ПРИГОТОВИЛИСЬ УДАРИТЬ! ДА МЫ ИХ ОПЕРЕДИЛИ! СЛАВА НАМ! МЫ СРАЖАЕМСЯ ЗА ПРАВДУ! И БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ! НАС НЕ ОСТАНОВИШЬ! ПРАВДА ПОБЕДИТ! ЛЮБОВЬ ПОБЕДИТ! МЫ ПРОЛЬЕМ КРОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ! МЫ ПОБЕДИМ! Ты помнишь, помнишь, как холопы твои это на площадях кричали?!

— Заткнись, юрод!

Выстоять. Держаться. Не падать. Не умолкать.

Не просыпаться.

— Кто кого обманул?! Тебя — обманули. А ты сам об том не догадываешься?! Нет, о нет! Иначе бы не затевал ты тут, в избе, совет, не расспрашивал соратников о верных шагах, о неверных! Кто и за что собирался нам отомстить?! Согласен, повод для ненависти, мести всегда найдется. Да, безумцы они! Мы говорим на разных языках?! Да! Но мы понимаем друг друга! У нас одни прародители, Адам и Ева, ветхие люди! Люди Рая! Сладкого, золотого, птичьего, мандаринного Рая! Рай, там человек живет без смерти! Бессмертие! Вот клятва. Вот надежда. Мы забыли про бессмертие. Звери и птицы шарахаются от нас, убегают и улетают, мы сеем смерть, живое это чувствует. А люди? Разве люди не чувствуют, когда соседняя армия к границе подтаскивает танковые колонны, стягивает пехоту? Забивает аэродромы железными летающими бочонками?!

Говорить. Говорить не умолкая. Высказать все. Успеть.

Он будет орать, перебивать, он может вскочить и зажать мне рот ладонью. Но я должен сделать так, чтобы все люди за круглым столом это — услышали.

У меня просто нет другого выхода.

— У нынешней беды другие причины! И я не верю, что вот сейчас, теперь, ты их не знаешь. Где же твои хваленые дипломаты? Разве ты и я, мы оба, не знаем, что главное — речь? Еще никто не запрещал речь. Никто еще язык в тюрьму не сажал.

— Сажали! — выкрикнул Царь, вращая выпученными глазами.

По его вискам тек мелкий пот.

— Ну да, да... Язык — народ, и я сие помню! Однако чужедальний владыка, разве он был в начале готов к обоюдному вашему разговору? Почему ты с ним не сел за стол? Такой же вот, широкий, круглый?

— Он все равно бы не сел! Не захотел! Бестолковое дело!

— Не бестолковое! Не напрасное! Кровь, она так рядом. Если хоть раз она пролилась — беды не миновать. Человек, зачуввав кровь, превращается в волка. Бежит по следу. По следам убитого. И на запах тех, кто еще не убит, но кого можно убить. А люди — дураки! Вот я юрод, да, но мало ли ты видал безумцев, что сами шли на заклятие, желали быть убитыми?! Каждый хочет жить! Да умереть как герой, для многих это как знамя подъять над собой, в небеса!

— Замолчи! Эти люди, которых убивал жестокий владыка там, в другой стране, они все наша родня! Они — у нас — помощи — просили! Ты-то разве не знаешь об этом?!

— Знаю! Еще как знаю! Просили! Кричали!.. А я скажу! И вы все — слушайте! Это сон, и вы все во сне моем, но ведь и я вам снюсь, а проснетесь — быстро, плача, губы кусая, меня и мой крик вспомните! Все до словечка припомните!

— Связать его!..

Царь захрипел и выбросил обе дрожащие руки перед собой.

— Не выполнит тут никто твой приказ! Видишь, все сидят как вкопанные на стульях, табуретах, в креслах своих и во все уши слушают меня! Себя надобно протянуть страдальцу, как хлеб! А не изувечить! Не распять! Ненависть рождает ненависть. Язык языку брат, но на ином языке, который мы до словца понимаем, нам бросают в лицо: сгиньте, каты, мучители, пропадите! Катитесь обратно в свой Ад! Вы пришли, чтобы тут у нас Ад устроить, да мы вас — вашим же Адом — и проклянем! Разве так ты хотел, Царь?! Разве то задумал ты сотворить?!

Полковник с туманными озерными глазами медленно поднялся за столом. Он молчал, не говорил ничего, зато лицо его, вздрагивая, волнами боли ходя, говорило. Бездонные скорбные глаза — говорили. Он прикрыл глаза тяжелыми иконописными веками. Улыбнулся нежно, слабо, чуть заметно.

Василий глядел в его ледяное, лесное, озерное лицо.

Он мысленно говорит мне: так, все так. Он — поддерживает меня. Он разделяет мою правду. Мою? А разве правд много? Разве правд — тысячи, миллионы? Я сумасшедший, да, но я верю, ибо истинно: правда всегда одна. И она — у Бога. Божия она.

— Колонны, колонны железных повозок! Угрюмые танки, непобедимые машины! Пушки наставлены... Самолеты гудят, жужжат... в железных животах у них — чужая смерть... А может статься, и твоя. И твоя! И солдаты, солдаты. Плохо вооруженные! Голые-босые! — На миг, в страшном его сне, метнулась перед лицом его босая Ксения во мрачной мешковине. Исчезла, как молния в тучах. — А им приказали: шагом марш! И пошли они! Пошли, ибо — приказ! Присягу давали! За неповиновение — трибунал! И палили они, и палили в них! Умалишенные перестрелки. Тяжелейшие бои. Где мы и побеждали. И радовались. Где валили нас. А что удивляться. Войну нельзя творить наспех. О молниеносной может сладко мечтать только полоумный!

У Царя мелко тряслась борода. Глаза его выкатились из орбит и застыли, белые, белее льда.

— Ты...

Не сдаваться. Стоять. Стоять насмерть.

Сейчас моя битва — моя речь.

И больше ничего нет у меня в целом свете.

— Властитель должен мужество иметь. Мужество, начав, до конца смертоносное дело довести. Это — работа. Как любая другая. Я, пророчествуя на площадях, внутри лютой буранной зимы, тоже ведь ходил и работал! Я — работал — собой! Я душу мою ломал на куски и людям раздавал! Это было мое деяние; и оно было столь же опасное; я каждый день пребывал на передовой, меня мог кто хочешь убить, на меня нападали из-за угла, подстерегали меня в переулках, в подворотнях, тащили за волосы метельною ночью к Лобному месту и визжали: да мы тебя!.. да мы сейчас!.. именно тут тебя и обезглавим!.. ножом тебе юродскую башку ототрежем!.. намозолил ты нам тут всем глаза, на Москве!.. а сам небось мечтаешь, чтобы с тебя после смертушки образ святой намалевали да в соборе на стену повесили!.. Не дожدهшься!.. Орали: кончай его, братцы!.. И молился я, и тут случалось чудо — слетала с небес громадная птица, крыла шире Белого Поля зимнего, перья метелями кружатся, а лицо человеچه,

обличьем прекрасна, и ко мне летела Ангелица, и садилась близ меня, полоненного злыми разбойниками, в сугроб, и вопрошала голосом человеческим: жив ли ты, батюшка Василий, желаешь ли ты снова пойти вперед по колкому снежку? И радостно смеялся я, и кивал: желаю, желаю! И злыдни, связавшие меня, рассыпались вокруг меня ледяным горохом, и пеньковая веревка валилась с запястий моих, и распрямлял я спину, и ступал вдаль по снегу опять свободно и счастливо. А Ангелица летела надо мной. Правда, однажды, чтобы высвободить плоть мою из оков, я себе руку прогрыз. Как медведь! Но что мои страсти рядом со страстями народа моего нынче!

Толстый недорослый генерал хотел молвить слово, подался вперед да так и застыл с открытым ртом, будто на ходу, в недоконченном жесте заморозил его кто.

— А мои страсти... — выхрипнул Царь.

— А твои страсти — это твоя победа! Все на жертвенник победы ты кладешь! Для тебя важно сегодня. И забываешь ты, что есть завтра! Ты не взял чужую столицу — ты упустил не только время. Ты упустил короткую, похожую на удар под дых битву. Ты стал растягивать ее, как гармошку. Как баянные меха! Да, трудно музыку победы играть. И теперь уже ты поумнел. Ты стал догадываться о многом. Разгадал тайны, их ловко прятали от тебя. Бранился распоследними, чугунными словами, когда понимал, что от тебя скрывают. Победа, и ты это знаешь лучше меня, может быть добычей. Может быть преступлением. Может быть обреченностью. Может быть последней надеждой. Может она стать и единственным выходом! Когда ее воистину нельзя избежать! А ты сейчас, да, вот сейчас задай себе вопрос: а можно было всего этого избежать?! Можно?! Или нет?!

Царь голову закидывал, хрипел, косил конским кровавым глазом.

Пусть слушает. Больше никто ему такого не скажет. Небошь не умрет.

И я не умру. Я сильный. Выстою.

— Если есть самый нищий, бедняцкий, наималейший миг, и ты выдыхаешь сам себе: да!.. можно было предотвратить!.. — останови этот миг. Увидь его! Услышь! Пойми! Выпусти в свет Птицу-Ангелицу! Солдаты же не знают, за что погибают! А разве это гоже? Разве так заповедано Господом?! В Ветхом Завете, да, начертано: око за око, кровь за кровь, смерть за смерть! Наматывается на веретено нить бесконечной мести. Убьют наших воинов — мы жаждем отомстить врагу и убить во множество раз больше его верных людей. Так умножается скорбь. Так растут горы покойников! Солдат твой должен знать все про смерть свою! Тогда он жизнь за тебя и Родину с радостью отдаст! А что он знал про тайну твою, когда на смерть пошел?! Она так тайной для него и осталась!

Мальчик, первый проводник Василия по Аду, сел на пол, не сводя с генерала глаз. Он глядел на Василия из-под ладони, как на солнце. За окном, затянутым порослью морозных ромашек и ледяных васильков, во весь голос, как весной, пели птицы.

— Гибель ждала незнающих! Они не защищали! Они просто грудью на вражьи штыки бежали! Они воздымали вверх хоругвь, и ветер трепал и мотал лик Спаса Нерукотворного, а клича, что ведет к победе: за Родину! за Царя! — они не выталкивали из глоток своих! Что же они кричали, когда бежали в?! Что?!

Птицы распевали громче, чем дышали люди за столом.

Птичий щебет перекрывал дыхания людей.

— Солдат — то такой человек, особый, он или знает, как вести бой, обучен бою и к бою приспособлен всем нутром и телом, или не знает и перед врагом становится тряпкой, выеденным яйцом. В армии всегда есть солдатское ядро, самое крепкое, самое сильное. И среди моих танкистов такие есть! Я их люблю, ценю. Я их в мясорубку — не пускаю! Искусство генерала еще и в том, чтобы сберечь своих солдат. Не бросать их

на бессмысленную смерть! А для армии самое ужасное — воинский позор. Не смочь его ничем, кроме как смертью! И на страшную смерть идет солдат. Почему страшную? А потому, что позор смоешь только страшной смертью! Не только в атаке, но под пыткой! Не только во взрыве, но и при сожжении заживо, когда враги вокруг тебя стоят, на огонь твой глядят, глумятся! И умирая, ты, солдат, должен в сей миг понимать: так расплачиваешься ты за позор военачальников твоих!

Еще немного. Пока он не кликнул денщиков.

Мальчик, странник по Аду, сидел на полу, будто у рыбацкого костра, будто хлебал стерляжью уху расписной деревянной ложкой, лицо его просветлело, он закрыл глаза и прошептал:

— Генерал Василий, я вижу тебя и с закрытыми глазами.

— Генералы! Вы же воины. Вы не боитесь смерти! Вы привыкли к ней! Ответьте сами себе: нужны вам за подвиги ваши новые ордена и медали на грудь вашу, на кители ваши и мундиры? Нужны звезды Героя?! Чего вы ждете? Чести и славы, вашей, личной, неотъемлемой от вашей единственной жизни, — или спасения и вечной славы родного народа, что там, за вашими спинами?! Народ есть ваши крылья. А вы птицы, и вы летите. Впереди крови, впереди смеха и слез. Вас выбрали из народа, назначили народом воюющим командовать. Кто из вас справляется с этим, кто не справляется. Теперь уже поздно жаловаться и рыдать. Над судьбой не плачут. Судьбу видят. Любят. И принимают. Приняли вы всей душой, всей жизнью вашей эту битву?! Или вы на ней трудитесь из-под палки? Чтобы — денег из царской казны заработать? Чтобы — еще один рубиновый, огненный орден на мундир нацепить?!

— Нет! — задушенно крикнул печальный генерал с озерными глазами. — Не надо мне никакого ордена! И медалей не надо! И славы! И стояния на Красной площади на виду у всей рокочущей толпы! Я — за Родину — жизнь мою отдам! Чтобы жила она, любимая, процветала! Чтобы меня... меня!.. забыли... а она — была! Всегда! Ее — помнили! Ее — моя родня населяла! Потомки мои!

Царь повернулся грудью, животом к Василию. Выставил палец пистолетом.

— Хочешь сказать, я отправляю моих солдат на убой?! Я кладу их на плаху?! И под огнем врага умирают они. Так мой ответ тебе: в бою без смерти — нельзя! И ты погибнешь, как герой! Как герой, слышишь!

Передохнул.

Я знаю, что он сейчас скажет. Прикажет!

Я к этому готов.

— Епифан! Денщик! Сюда!

Голос его грохотал канонадой.

— Взять его! Под трибунал поздно! Эти все сидят, молчат как в рот воды набрали! — Он обвел бешеным взором людей за столом. — Я тут — его трибунал! Я сам! И это я, я приговариваю его — к расстрелу! Епифан! Выведи его во двор! Расстреляй! Как угодно! В лоб, в затылок! В грудь! Как ты пожелаешь! Нет, как он пожелает! Не хотел в бою умирать — умрет под расстрельной пулей! Не потерплю рядом с собой того, кто пытается стать сильнее меня!

Денщик шагнул к Василию. Выдернул из кобуры пистолет.

— Ступай! Шагом... арш!

Да. Я знал. Все так, как и должно быть в страшном сне.

Василий повернулся лицом к распахнутой двери. Мальчик, сидящий на полу, встал, и подбежал, и встал у притолоки, и прижался к ней спиной. Вроде бы преграждал путь юроду; пытался остановить неизбежное.

Василий медленно подошел к двери. Погладил по русой, шелковой головенке отрока, ладонь ощутила тепло ребячьего тела, тепло души.

— До встречи, сынок. Не плачь. Не хватайся за меня. Мы увидимся. Мы же сейчас в Раю. А надо опять спуститься в Ад. Не бойся. Я теперь знаю путь. Ты мне показал.

Переступил порог. За его спиной загомонили люди. Поднялся шум, крики, посыпались шелухой ругательства, таяли снегом, корчились сожженной бумагой, вспыхивали горящими головнями. Василий и царский денщик Епифан вышли во двор, на снег. Синий снег искрился золотом, дышал рубиновыми звездами, плыл донным тайным перламутром. Красота жизни перед смертью потрясала, била навывлет. Денщик крикнул:

— Здесь встань!

Василий замер. Здесь? Где — здесь? Для него весь зимний Мирь был — здесь.

И везде.

— У сарая?

— Да здесь застынь! Спиной повернись!

Василий улыбался.

— Я хочу тебе в глаза глядеть, когда ты будешь стрелять.

Денщик бледнел, а скулы Василия яблочно розовели на закатном солнце.

Инеем были щедро, празднично опушены длинные, плакучие ветки берез, свисающие до самых сугробов; синие, голубые густые брови, усы и бороды инея испускали слепящие искры, Василий жмурился, больно было смотреть.

— А это правда, генерал, что ты в избе болтал о том, что Царя нашего — обманули?! Неужто?! Я-то считал, все сверяется-проверяется тысячу раз! Что комар носу не подточит... Что все — правда! Святая правда! А по-твоему, правды нет? Где же она, родимая, таится... где?

— Делай свое дело.

Епифан передернул затвор.

Василий внимательно, подробно рассмотрел смерть свою: залысины денщика, мелкие хлебные крошки веснушек у него на тонком, чуть курносом носу, круглые, слишком светлые, рядом, как у дальнометчика, близко к переносице воткнутые в череп глазенки, маленькие, свинячьи, стреляющие во все стороны, хитроумные; расстегнутый ворот гимнастерки, давно не стиранный, медные ее пуговицы; намазанные ваксой сапоги, и даже пахучую ваксу раздутыми ноздрями поймал — дух терпкий, дегтярный, жирный. Кобура, откуда Епифан вытянул оружие, гляделась потрепанной, вытертой на кожаных сгибах. Хорошая, да, простая и веселая была эта его смерть. Стояла перед ним, затвор уже щелкнул, вот, еще немного, сейчас.

Скажет ли слово?

— А ты, генерал... правда секрет какой знаешь? Ну, про войну?

Василий молчал.

— Ежели знаешь, ты мне, это самое, скажи!

Василий молчал.

Борода его вилась по ветру.

— Я, слышь, никому не передам!

Синий снег вспыхивал, взыгрывал тысячько ошалелых цветных искр, переливался толпою упавших с неба ночью дальних светил, становился оранжевым, медным, медовым. Закат. Солнце заходило. Райский день на исходе. Все так, как должно быть. Рай закрывает глаза. Смыкает ресницы инея. Он стоит под заиндевелой березой. Она горит огнями. Солнце становится красным, вишневым. Это небесная наливка. Выпей граненый стакан — и опьяней. Навек.

Стреляй!

Денщик поднял пистолет. Прицелился.

Василий видел: его рука дрожит.

Трудно человеку на земле убить человека. Это только кажется, что просто.

Он еще успел услышать выстрел.

...И проснулся. <...>

ФРЕСКА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕКАРЬ ТЬМЫ КРОМЕШНОЙ

РУИНЫ И ЛЮДИ

<...> Никого не было на Красной прекрасной площади, прежде многолюдной, густо кипящей разномастным, развеселым народом. Раньше кто тут смеялся, кто ревел белугой, кто сизым голубем взмывал под небеса, кто громогласно торговал, выкликая, зазывая, выхваляясь товаром, кто вышептывал за столбами враньевые гадания, кто выкрадывал из карманов у зевак кисеты с табаком, монетами, орехами и семенами, взамен, в насмешку кладя в опустелый карман сироту-пуговицу, вонючий рыбий скелет или голубиное перо. Кто на балалайке трень-брень! Кто на гусельках! Иерей молитву на всю площадь читал, нищенка с вором сладко целовались в тени колокольни, и у нищенки той животень торчал тугим круглым куполом: ребяенок там новый рос-подрастал для страданий подлунного Мира. И вдруг как заблажат, зальются вселенской музыкой над Красной площадью великие колокола! Как разольются винным, хрустальным, синим и красным, малиновым звоном куранты! То ли крестины отмечають, то ли помины, а то ли свадьбу: все одно, чью, царскую-боярскую или горькую-на-задворках; звонит жадное, все волчьи сожрет, время по ушедшим, по грядущим, по тебе, грешному и настоящему, лишь по себе самому оно никогда не может звонить: его удел бессмертие, лишь соль веков застынет на губах.

Иду. Никого. Ни души.

Лишь пепел, пепел.

Нет! И тут, среди земного Ада, люди живы!

Ко мне подбежала тощенькая уродливая девчужка; две светлые русые коски, неряшливо заплетенные, прыгали по ее дощечкам-плечам; она лопотала на чужом языке, я ничего не понимал, но кивал и улыбался, будто понимал все. Ее спина и грудь, крестнакрест перевязанные военными ремнями, напоминали лодку-плоскодонку. Она делала отчаянные и смешные жесты тонкими, как зимние ветки, руками, и я следил за танцем ее рук, отвечая на него восхищенным сердцем. Я видел: она меня узнала.

А я, я-то все никак не узнавал ее.

— Откуда ты знаешь меня?.. Ты знаешь, кто я такой?..

Я видел: она поняла мой простой вопрос.

И вдруг заговорила на ломаном, корявом языке, странной, остро-перечной смеси родного и чужедального, и тут я стал ее понимать, и жаль мне ее стало, а потом и себя грешного, словно слушал я на дорогой могиле погребальную песню.

— Знаю! Еще как знаю! Ты важный дяденька! Ты генерал. Ты воинством танков руководишь! Они такие страшные! И ты страшный, да прекрасный. Твои танки сильнее всех. Их тоже все боятся. Там, где идет твоя армия, образуется воронка из танков, и она, железная, всасывает людей. Ты завоевал уже много вражеских городов! А ты знаешь, все эти города когда-то были нам родными! Что с нами со всеми случилось? Почему мы перестали узнавать друг друга в лицо? Города ведут хоровод, они заслоня-

ют друг друга, когда по ним стреляют. Ты умеешь выстроить танки в шеренгу! И они могут быть хитрыми, ловкими, быстрыми, как змеи или ящерицы! А такие тяжелые! А сколько еще городов тебе надо захватить, чтобы Царь на весь Мирь крикнул: все, наша победа, окончена война!..

Улыбка сама не могла сойти с моего лица, и я стер ее ладонью.

— Я привык воевать до победы.

— А что такое победа? Она настоящая или сон?

— Настоящая.

— А вот скажи, я настоящая? Или я тебе снюсь?.. Мне один дядька сказал: ты девочка-сон, я дуну на тебя — ты улетишь пухом, а я проснусь.

— Ты?.. — Я склонил голову к плечу, по-птичьи, разглядывая девочку. — Ты, спору нет, настоящая. Вот гляди. Беру твою руку, сжимаю в кулаке. Больно?

— Ой!

— Больно. Успокойся, сейчас боль пройдет. Но болит только настоящее. Настоящая плоть, настоящая душа.

— А где душа?.. Где она болит?.. Покажи!..

Я зашарил по себе ладонью, будто искал в кармане кителя курево. Не нашел. Рассмеялся беззвучно.

— Она везде, дитя. Везде. В каждом волоске. В каждой складке и каждом сгибе. Колени гнутся и бегут, глотка кричит, лоб перекашивается морщинами. Тело есть душа, только не все это понимают.

— Я понимаю!

— Верю. Давно разбомбили город?

— Давно! В самом начале войны!

— Бедная моя Москва...

— Это уж не Москва! Ее сейчас иначе называют взрослые солдаты. Армагеддон — вот как! А я все равно называю наш город Москва! Я по-другому не могу!

— Армагеддон... А вражеские самолеты часто налетают? И убивают?

— Нет, дяденька, сейчас не сильно убивают, нет, ну так, иногда, сейчас они только кружатся над Москвой, а потом гул пропадает, наверное, они садятся на границе на запасные аэродромы, а может, в наши самолеты перекашиваются и нами прикидываются.

— Прикинуться можно чем хочешь, была бы охота! Человек — зверюшка странная! И смешная! Он с удовольствием повторяет судьбу глупца, погибшего напрасно, и забывает житие пророка, а ведь пророческий дух... он рядом с Господом летает. Вот ты хоть одного живого пророка видела?

— Нет. Да! Тут бой гремел. Стреляли так густо, что неба и стен домов не видеть было из-за огня! Огонь ливнем лупил! И вдруг наперерез огню человек выбегает. Откуда ни возьми! Ну, вроде тебя... похож... борода по ветру вьется, волосы длинные, на концах кудрявые, все растрепанные. Ветер прямо бесится! А бородач идет себе, идет. Босиком! И подходит к месту, где пули ложатся гуще всего! И поднимает руки, ладонями вперед. И так стоит! И кричит! Много всяких слов кричал! Я не все разбирала. Но кое-что запомнила! Он кричал, что... по причине... беззакония в людях оскудела любовь! И что пули никогда не поразят истинно верующего! И что небо... небо... как это он кричал... погоди... небо — если человек его сильно разгневет — возьмет да упадет на человека! На всех людей! Ну как гнилая крыша! И всех придавит! Задавит!

— Задавит...

— А я спряталась! И еще со мной другие спрятались!

— Спрятались...

— А что ты все время дразнишь меня?

Я твое эхо, дитя. Я это ты. Ты еще об этом не знаешь.

Когда увидимся с тобой? Кто ты? Может, в тебя жизнь Красной площади перелилась, и вырастешь ты, и ею — снова — станешь, живой и громокипящей?

— Я не дразню. Я просто за тобой повторяю. Чтобы навеки запомнить. Тот, кто любит, за любимым повторяет всегда. Так человек запоминает другого человека. И так он может передать огонь его слов по наследству. По цепочке. Перед другими — возжечь.

Она не поняла, я видел; но на всякий случай согласно наклонила голову.

На русой ее головушке толстым слоем лежал пепел.

Господи Сил, она же и есть пепел. Я ее вижу, но ее нет.

Угли ее губ приподнялись в нежной, тающей усмешке.

— А я все занимаюсь ерундой. Скучно мне, я осталась одна. И я все думаю, думаю, думаю, думаю.

— О чем?

— Как войну убить.

— Вот так мысли у тебя!

— Да надоело, когда убивают. Хоть я и привыкла.

Она есть само терпение и смирение. Господи, дай же и мне смириться и терпеть.

— Дяденька генерал, а ты Царя видал?

— Видал.

— А ты с ним хоть разок говорил?

— Говорил.

Я улыбнулся.

— И что Царь тебе сказал? Нет! Что ты сказал Царю?

Я вздохнул прерывисто, как после плача.

— Я поднес ему на блюде вкусные яства, мною самим приготовленные, а он спросил меня, как я их сварил и зажарил, и я все ему подробно рассказал. И ел он и похваливал. А я стоял рядом и глядел, как он ест.

Русая девчонка засмеялась тихонько и тронула рукой растрепанную коску. Ветер дунул, и пепел вокруг головы и лица ее поднялся слабым сумрачным, млечным свечением.

— А почему ты Царю еду сготовил? Ты у него поваром служил?

— Да. Поваром служил. На кухне.

— Да! Вспомнила я! Точно!

— Память — это радость. Не всегда. Горем она тоже глядит. Из зеркала.

— А потом вдруг стал генералом?

— Да. А потом стал генералом.

— Эх ты! И как тебе так удалось! Ты что, очень умный, что ли?..

— Нет. Я юродивый.

— А кто такой юродивый?

— Юродивые мы все. Каждый. Отроду. Юродивый — это значит особенный. Все люди особенные. У всех свои беды и свои победы. Все рождены неповторимыми. Но только немногие юродивые осмеливаются вести жизнь, для коей они рождены.

— Ух... Вот здорово... А ты для коей рожден?

— Нагим по Красной площади ходить. И пророчить.

— А почему ж ты тогда генерал, а? Да в военном наряде? — Она ущипнула меня за китель. — И в орденах?

— Генерал, малышечка, тоже юродивый. Только мало кто об этом догадывается. Генерал-юродивый видит не только сегодня и вчера, но весь ход военных действий.

Он знает, что будет завтра. И не все в командовании это знание юрода переносят. Такое знание ненавидят. Бичуют. Многим завидно, если ты видишь будущее.

- А вот мне не завидно?
- Ты безгрешная.
- А ты — безгрешный?
- Нет. Грешен я. Как все люди. Юрод, быть может, грешней других.
- Почему это?
- Он вземляет грехи Мира.
- Ох, какие мудреные слова! Не понимаю...
- И не надо. Потом поймешь.
- А у тебя военная кофта нафталином пахнет!
- Китиль в старых сундуках лежал. Нафталином одежду посыпали, чтобы моль не побила.
- А человека моль может побить?
- Еще как может.
- И вынут человека из сундука всего в дырках!.. Ха, ха, смешно!.. и отряхнут!..
- И Время — может.
- Время?..
- Время, съеденное молью, никто не вспомнит никогда.
- Ты и об этом Царю рассказывал?.. Ну, когда поваром служил?..
- И об этом тоже. А еще я за него молился. А еще изъяснял ему мою жизнь. И — его жизнь.

Девчонка шмыгнула носом и утерла нос и рот грязной тонкой рукой. Одна ее коса совсем развилась, прядями играл ветер.

В руинах колокольни Ивана Великого обвалился камень. Беззвучно упал среди обломков. У всего вокруг не было звука, не было запаха. Лишь ветер, легкий ветер и пепел, ветер и сумрак беззвездных небес.

Безлюдная площадь молчала. Молчал и я. А потом сказал ей:

- Хорошо. Я тебе расскажу. Тебе одной. <...>

ПОХОД НА МОСКВУ

Родная моя, Ксения моя. Где я? Где ты? Я опять на войне. И она мне не снится. Все по-настоящему. Блаженная моя, во мне поднялась могучая волна гнева и боли, я не знаю, как с ней совладать. И поэтому я делаю то, что делаю. Ты когда узнаешь о деяниях моих, прости меня.

Прости меня за все. Я причинял людям, быть может, больше горя, чем добра. Счастье неуловимо. Я никогда не знал, как его подарить человеку. «Юрод, юрод!.. — кричали мне на площади, на рынке, на берегу ледоходной реки. — Открой рот, пусть птица чайка туда залетит!..» Зачем я поднялся, взбунтовался и пошел на моего царя? Я же его жалел. Я понимал: Родина не может без него. Всегда стояла Русь, и всегда был на ней царь. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Я кликнул клич моим танкистам и верной, храброй пехоте моей: вставайте, заливайте в машины горючее, выступаем на Москву! А мы сейчас, светлая моя, в неведомом тебе красивом граде; сюда долетают снаряды и мины, разрушаются башни и колокольни, но стоит город, и живы его люди, и плачут они в подвалах, обнимаясь и прижимаясь друг к другу, а крыши срывает бешеный ураган, бросает со звоном и скрежетом листы жести о выжженную землю. Засуха, боль, колючки терновника, пересохшие реки. Впору вскрыть солдатским ножом жилы и, утоляя жажду, пить собственную кровь.

Мы, армия, вошли в город беспрепятственно. Жители выходили на улицы и бросали под гусеницы танков вербные ветки, желтые мимозы, голубиные перья, венки из роз и гвоздик, еловые лапы. Мои солдаты смеялись и скрипели зубами: елки, как на похоронах! Я скомандовал: ни слова, ни упрека, ель — святое дерево предков, а за-суха назавтра обратится в новую зиму, и посыплет снег, белый, острый, ранящий щеки и шею небесный песок, и снова нарядим громадную черную сироту-ель на главной площади города, сотворив печальные самодельные игрушки из бумаги, атласных лент, крашенных серебрянкой орехов, сосновых шишек, пятилучевых древних красных звезд, склеенных из лампадных стекляшек безжалостно разбитых калейдоскопов.

И все случилось, как я и предсказал: Великая Сушь обратилась в Великий Мороз, из ближнего леса на площадь привезли в кузове военного грузовика старую матерую ель, вытащили, долго устанавливали в богатырскую крестовину, и я понял, я увидел: это была не ель, страшно-громадная, а моя мать Марина, обращенная в черную, ночную мать-Медведицу с колючей, дыбом, шерстью. Я сам подходил и ее украшал. Красной краски у меня не было, выкрасить игрушку-помидор или бумажный грибомухомор; я выстреливающим ножом вскрывал себе ладонь, охал и морщился, и вымазывал широко, богато льющейся кровью картон и холст, стекло и гипс.

Елку возвели, как Крест Господень, она уперлась верхушкой в погоню рвущихся, сходящих с ума ненастных туч. Из-за бега туч выныривала луна, косо взглядывала на нас, шарахающихся по усыпанной перлами зимы площади, на наших железных жуков, стрекоз и гусениц, на бешено-яркие флаги, мы втыкали их над подъездами домов, водружали на высокие столбы, ввинчивали в сочленения танков. Зачем людям флаги? Цветные тряпицы? Чтобы издалека чужаки могли увидеть: наши идут, родные! Или: враг наступает! Стяг — он и детское твоё одеяло, и бабья свадебная фата, и пеленка младенца, и саван покойника. Потому он и свят. И светел.

Я понимал: мы вязались во страшное дело. Дела, родная, делятся на безумные и мудрые, на страшные и благословенные. Мне то, что затеял я сам, я и боле никто, кажется и верным и жутким. Я не мог не погрузиться в этот бедный, яростный, густой, не проглянешь сквозь, военный снег.

Что я предчувствовал? На что был готов? На все. Знай, я и сейчас на все готов. Ты научила меня смелости. Ходить где хочешь, глаголать что хочешь, плакать на виду, смеяться на миру. Я собрал мои танковые войска, прошелся меж рядами, мои бойцы глядели на меня преданно, чисто, влюбленно. Милая, для них я не площадной юрод, не повар царский, господарский, а их командир наиглавнейший! И слушают меня. И глядят на меня. И что я им скажу? Вот здесь, теперь?

Говорю: идемте все на север, на Москву! Ад расступится пред нами. Танков гусеницы проутюжат дороги, наполнят гулом и бычьим мыком зимний ветер, разрежут долгим ходом белый морозный пирог. А Москва — не пирог. Не кус земного пирога! Нет! Москва наша — это сердце наше. А сердце Москвы, посреди нее бьется — площадь Красная. Сердце ведь красное, кровью все облитое. Вот и она тоже. Что мы скажем царю? Я сам скажу. Я все ваши страдания — ему в лицо — выскажу! <...>

Он не знает, где мы. А мы уже идем. Да ему быстроногие гонцы уж донесли. Ждет. Сокрушается. Или злится? Против нас — охрану свою снарядит? Или переговорщиков вперед вышлет?

Осознаю ли я, сумасшедший, юрод первостатейный, так пылко, страстно мою Родину любящий и Рай ее забытый лелеющий, на кого руку железную поднимаю? Ад перед моими танками расступается. Дороги проседают и гнутся, хрустят их ребра и позвонки, и ломается сизый слоистый лед на озерах и прудах, и текут, указуя танкам невестин зимний путь, долгие, как жизнь, реки, и по их допотопному ходу идем мы,

двигаемся, грохочем, не заглушить. Если танки идут напролом, по дорогам и бездорожью, их не остановить, родная! Я помню, когда я впервые услышал грохот и безумный гул танков. В Москве это было. Я спал и от грохота проснулся: думал, земля очумела, взбесилась, и вот подземный огонь взламывает земную кору, и вот она трещит по швам, выпуская наружу стальной гуд, сдавленный крик и хрип. Ночевал я на старом, порванном матрасе в заброшенном доме на слом. Анфилады пустых, давно брошенных жителями комнат завалены битым стеклом, из разломанных шкафов по ночам выходят хохочущие скелеты, а иногда сама собой зажигается люстра под треснувшим надвое, покрытым пыльной виноградной лепниной потолком. Гул услышавши, я с ложа моего вскочил. К окну подбежал. Вижу: от Красной площади по широкой улице, Тверской именуется, идут неведомые мне железные огромные коробки на колесах-гусеницах. Идут и рычат, воют, страшной голодных волков. Рык приближается! Стекла в окнах трясутся, звенят! И вот стекло трескается надвое, разламывается и выпадает, ударяется об пол и разбивается на тысячу осколков. Наступаю на осколки босыми ногами. Прислоняю лицо к стеклу, нос о стекло расплющиваю. Адские машины идут! Идут! Ближе! Ближе подплывают! Камни дрожат! Гудение улицы заливает, рушит в человеке надежду на защиту и покой! Нет покоя!

Впервые я видел танки. Машины войны. Я, юрод подзаборный, и думать не думал, что в жизни их увижу: в моей ли, в чужой, непрожитой. А вот сподобился. Следил, как катились они, грозные, воющие и визжащие, наглухо задраенные заклепками и болтами, мимо окон пустого мертвого дома. Да, вот она, смерть. Глядя на танки, я понял все о смерти. И там, внутри железного мощного короба, сидит человек; и он, живой, машиной той руководит; и слушается она мановения его руки, дрожи его ноги, поволоки и вспышки его хитроумного глаза. Сам человек для себя такую придумал! Нет, не для себя самолично: для врага!

Ксения... Ксения... Я никогда не думал, что я заварю такую кашу. Но у котла стою на Адовой кухне, и поварешка в руках моих, и хочу я сам себя хорошенько понять: почему я веду войска? Москва рядом! Идем без остановки. Танки грохочут. Воины обуреваемы голодом и жаждой. Я сам в танке моем сижу. Грохотом задавлен. Душно мне. Жарко мне. Я как в печи. В голове у меня голоса слышны. Слышу, как мне говорят, докладывают усердно: генерал, рядом уже Москва! Уже укрепления миновали! И закрываю глаза. И грохот в ушах. Век бы его не слышал. А вот привелось.

Ксения, отвечаю голосам: вперед, вперед! Не останавливаться! Пройдем маршем! Лепятся к восхолмиям домики и домищи, катятся наперерез нам железные повозки, бесполезно сигналият, берут в кольцо, мы его танками прорываем, идем, торжествуем, давим все живое и неживое на нашем пути. Открываю люк. Стою. Гляжу. Боже, Ксения, родная, что же я делаю! Я звучу танками моими в общем адском хоре! Зачем! Я не хотел!

Оборачиваюсь, за мной — железная страшная колонна, она рушится, наплывает, рвет зимний воздух, и мороз становится огнем, и я тихо, отчетливо говорю всем танкам и всем солдатам, кто за мной на Москву надвигается неумолимо: люди! Люди! Мы не просто бунтуем! Мы идем на Москву, чтобы дать понять: у Ада есть край! У Ада есть конец! Надо оборвать адскую нить! Прекратить наматывать ее на кровавый клубок! Пусть хоть тысяча дьяволиц на землю явится, и хоть тысячу плах и виселиц прикажут на всех площадях всех городов возвести! Не четвертуешь! Не перевешаешь! Жив народ. Вы же, солдаты мои, живы! И я жив с вами. И — вами!

Вот скажите, родные мои, соколики, бойцы мои, вы — любите — Родину?!

И будто бы слова мои чудом услышали все. Все! Все! В каждом танке. В каждой хищной бронированной машине. На меня покатила устрашающий вал голосов, за-

бился у меня в ушах, под черепом, метель взвила мою бороду и отнесла ее вдаль, в ночную стужу, лохмы вздувались, опадали и били меня по щекам, погоны на плечах горели, прожигая кожу и кости, и я слышал, слышал этот хоровой великий ответ, не различал слова, ну и наплевать, а музыка ужаса и верности шла и шла, накатывала, растворялась в неистовом лязге и гуле, и уже краем сознания ловил я снеговые вспышки и звездные взрывы, а голоса, наваливаясь, погребали меня под собой, и становился я одним из них, и так же звучал, и так же, шелковым флагом, бился на ветру:

— Любим!.. Любим мы Родину!.. Превыше Родины нет ничего в Мíре!.. За Родину жизнь отдаем!.. И не пожалеем впредь!.. Родиной клянемся... Родину, умирая, обнимаем... мыслью и сердцем... перед Родиной — на колени встаем!.. и стопы ее натруженные целуем... Смеются пусть те, кто любви к Родине не знает!.. Царь ныне один!.. завтра иной!.. а Родина, Родина бессмертна!.. Врага будем ногами попирать, кто на Родину огонь обрушит и оружие поднимет!.. Тот, кто нам смерти желает, здесь, на Родине нашей, смерть найдет!.. За тобой идем, генерал наш!.. На Москву!.. На Москву!.. Красная стена!.. тюльпаны-зубцы!.. Чесночные зубочки... кирпичи крошатся в пыль... жизни наши крошатся в пыль... танки гудят... а мы все идем! Даже и мертвые — идем! Мы — герои... Мы в Аду жили! А теперь отдохнем! Москва для нас лучшие яства на столы вымечет!.. Да не за ради угощения мы воюем, жизни наши молодые отдаем! А ради Родины нашей, красавицы нашей... матери родимой нашей!.. Вперед!.. Вперед!.. Генерал, веди нас!.. Тебе служим, не тужим, да только давай, генерал, спросим нашего Царя: доколе?! Доколе будет грохотать война?! Есть ли ей предел?! И если есть... если и вправду есть... то... скажи!.. ответь... где он!.. Когда мы к сей пропасти, к обрыву подойдем... и в бездну Мíра заглянем... и — обнимемся у Мíра на обрыве... когда!..

И я, так шептал я им, Ксенья, в ответ, и я, и я Родину превыше жизни люблю, — и слышали они меня.

Бунт из меня вылетел наружу не потому, родная, что я пред царем не склоняюсь, как весь народ. Да и в народе есть те, кто пред царем головы не клонит! Я — клоню. Я — присягу давал. Но я ведь и свободен. Так же, как и ты свободна. Мы оба по площадям бродим. Оба мы ветру родня! На ветру стоим, в волосьях наших он гудит и гуляет! И начальником над военными людьми став, я свободы не потерял. И вот это горько. И это больно. Не справился я со свободой моей на высокой службе; не со владал. Кто мне в помощь? Один только Бог.

Да ты... ты...

Веду войско на столицу! Веду, путь указую. И так они мне верят, солдаты мои, что идут за мной, не прекословя, не восставая, не сомневаясь во мне ни капли. Раз я приказал — значит, они делают! И весь сказ! И растерян же я таким поворотом судьбы, родная! Ведь раньше приказывали — мне! Вытаскивали взащей — меня! Изгоняли — меня! Наказывали — меня! Направляли — меня! И шел я! И покорялся я! Ибо знал я, юрод; тот, кто прикажет тебе, сильнее тебя вовне, а ты, ты сильнее его внутри; так благо тебе, а не ему; изнутри Божия сила сочится, а не извне; ты себя сохраняешь, а он, указчик твой, на торжество власти его соблазняется. Покорствуя, я избегал соблазна! Ведь и змий в Раю соблазнил праматерь нашу Еву плодом со древа познания. А познать ведь можно, родная, не только счастье и Солнце. Узнать в лицо можно и диавола. И укусит он руку твою, заразив тебя тьмой; и яд в крови твоей потечет.

Так гудят танки, слух грохотом залепляют. Вот Москва. Я вижу ее стены. Сейчас моя железная колонна войдет в Первопрестольный Красный град. Град великий! Град обреченный! Град, к славе и небесам вознесенный! Вот я рядом. Вот мы, грохоча, в пределы столицы входим, и люди, люди по обеим сторонам дороги стоят, молчат, не понимают ничего, кто мы, зачем мы здесь. Танки грохочут. Гусеницы ползут. Мы

въезжаем в Москву, и знаю, нам, всему войску, надо пройти город насквозь, грохотом старые стены сокрушая, и выкатиться прямехонько на Красную площадь. Я же Медвежий Сын!..

Грохот танков. Оглядываюсь кругом. Высунулся из люка, из жаркой преисподней танка. А преисподняя-то снаружи. В Москве, родная, Ад и до нее досягнул. Как я люблю родные стены! Они в руинах. Как я пьяно, влюбленно бродил по всем тайным, от холода дрожащим переулкам! Они лежат в пыли, снегу, в осколках стекол, каменных обломках. А храмы? Храмы мои?! Господи! Не дай им погибнуть!

...Выезжаем на площадь Красную. Грохот. Вой. Знамена рвет ветер. Танки мои идут. Красная зубчатая стена восстает из белого моря снегов. Пушки упираются в незабываемый вековой кирпич. Все. Стоп. Пришли. Остановка. Погибель. Слава! Бессмертие!

...Не надобно мне, Ксения, никакого бессмертия. Не верю я в него. Спросишь: а в вечную власть — верю? И ничего не отвечу я на это тебе. Ибо не знаю ответа. Вместо слов взорванной стеной храма валится великое молчание. И стою я на площади Красной, высунувшись из танка, снеговая гибельная пыль летит мне на плечи, в лицо, и я молюсь, а не проклинаю. Проклинают пускай другие. Мне же за Ад родимый осталось только молиться.

И за тебя. За тебя.

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАМЯ

Возгорался всюду Огонь московский, последний.

Василий не хотел верить, что последний; он, как мог, всем надорванным сердцем силился, отодвигал от себя эту тяжело-чугунную мысль.

В каких Четъих-Минях означен последний срок родной земли, срок вселенского пламени? Вопят люди, перебегая наискосок площадь. Бегут, задыхаются, плачут, глаголют, да поздно!

Здесь, внизу, неистово грохочут танки, а вверху, в широких, залатанных рваньем облаков небесах, трубно гудят самолеты. Чьи они? Наши? Вражьи? Никто не знает. Исчез перед ними всеобщий страх. Иные люди называют те самолеты зверями летающими; а иные — письменами загадочными; и пытаются те письмена читать; и гадают, куда самолет серебряной рыбой поплывет — в Берлин и в Дамаск, в Тель-Авив и в Пекин, в Багдад и в Калькутту, а может, в дальний, во льдах застылый, под сиянием полярным спящий Анкоридж.

Ночь озарена круглыми гигантскими паникадилами. Возносят свечи к поминальному небу золотое пламя, и оно предательски, страшно дрожит. Каждый язык огня — сердце. Сжалось до размеров золотого жука. Желтого липкого детского леденца в теплой ладошке, в крепко стиснутом кулаке. Тук, тук. Пламя сердцем стучит. Пытается до Бога достучаться. Последние дни. Не может быть! Не верю!

Три великанских паникадила пылают в ночном небе над Москвой. Голодные люди в тоске выходят из домов и тихо, нога за ногу, спотыкаясь, бредут по улицам, залитым грохотом танков и воплями взрывов. Люди ослепли от мощного небесного света, от гула железных кораблей. Головы задирали. Пытались знаки небесные разглядеть, вытирали мокрые соленые лица ладонями, шарфами, варежками, грязными рукавами. Я знаю, что в небе горит! Это остров Огня, и там мы все скоро, люди, будем жить!

А разве мы будем жить?!

Глядите! Глядите! Кто в небе-то летит! Явился нам! Быстро все на колени!

Люди валились на колени и уставляли усталые от огней глаза в смоляные прогалы небес. Там, сквозь кудри пожарного дыма, они различали человека; хитон его

синий сиял, красный плащ на широких плечах переливался забытой зарею; звездами струились его волосы, звездами вспыхивали усы и борода, он пытался улыбнуться, да у него не получалось, и лицо дрожало, звуча колыбельной музыкой. Люди кричали: мы знаем его!.. знаем!.. то батюшка наш!.. то брат мой, сын мой!.. да нет, врите вы все, то Царь наш, и он уж на небо вознесся, почтим его широким, на весь Мирь, песнопением!..

Пели люди. Осеняли себя крестом. А человек печально глядел на людей внизу, раскидывал руки в небесном парении, летел и за всех страдал, и вот наконец удалось ему улыбнуться, и все снега, все сугробы Ада засияли, вспыхнули тысячько снеговых алмазов от его бедной, нищей улыбки.

А Москва нежданно обратилась в Божий светильник, и возожглись в нем семь ширококрылых огней, в Новодевичьем монастыре и на Маросейке, на Страстном бульваре и на Поварской, на Тишинском рынке и на Суцевском Валу, и на площади Красной, прекрасной, огонь запылал — и Василий, высунувшись из танка, наблюдал это красное пламя, что тебе красное знамя, знамя то захлестывало, накрывало огромную каменную сковороду, стремительно возжигались, будто сами собой, громадные костры на мерзлой скользкой брусчатке, и люди, люди падали близ костров и растягивались на покрытых наледью камнях, устали люди жить и ждать смерти, люди подносили друг другу кто пирожок, кто початую водки бутылку, глотали, рты утирали, скрючивались, на земле лежа, напрасно пытались согреться; грели ладони дыханием, натягивали на голые затылки траченные бабкиной молью воротники ископаемых шуб — все бесполезно: дрожь била их, колотила, значит, не мертвецы они были, а еще живые, и могучие пламена горели по Москве, и издалека, из любого укрытия, их было видать.

Семь громадных огней, а сколько малых, жалких, и не счастье! Везде, всюду, бесчисленно. Россыпи, искры, головни. Тлеют, опять вспыхивают безудержно. Василий, не шурясь, глядел на красный огонь: здесь он, на площади его родимой, самый бесконечный.

Все костры на Красной площади слились в один, и он взмыл до небес, а где же, искал юрод глазами, где же возлюбленный его храм? В его честь возведенный... его именем, как младенец, нареченный...

Василий... Преблаженный... вот же ты, брат мой... вот...

Нет. То не ты, брат. То громаднейшая свеча вместо тебя.

Куда ты утек? Убежал? Открой...

Наибольшая свеча. Витая. Многокупольная. Горит так, как сто костров не могут во снежной пустыне гореть. Горит, оплывает в угольно-непроглядной храмине небесной сферы, на каменном, железном блюде невольницы земли. Искры золотыми зернами неистово сыплются. Ослепляют. Летят во лбы, во рты, в глаза, в сердца. Жизнь на глазах истлевает. Да и не жаль ее. А жаль единственно огня. Огонь, он плачет, как человек. Рыдает, угасая, уходя. Рыдают сполохи. Лижут угольную соль ночи красные собачьи языки. У незримых Ангелов в руках алые щетки, и кропила обмакивают Ангелы не в святую воду — в нашу кровь, и брызгают живым в лица, крестя огнем, и мажут, замазывают боль и ужас, звезды и камни, бытие и гибель, беспредельную метель и малюсенькие черные фигурки людей, оловянных солдатиков, разбросанных по площади, горящих мгновенным куревом в жадном вьюжном рту.

— Эй!.. Ты, да, ты!.. Из танка высунулся!.. Вот ты, солдат, скажи мне... что тут, на Москве, происходит?! Конец это всему аль еще не конец?.. Не верю, что конец... Я-то тут пришлый, прилетел вчерась из далекой земли... с Сахалина-острова... отсюда, ха, не видно!.. А тут такое... Все, кранты людишкам, так понимаю!.. Да и мне, видать, тут коньки отбросить... Да давай же, рот разлеплай, ты ж солдат в этом войске, говори

мне быстро, чего ждать от того побоища!.. И гори оно все синим пламенем, где тут можно в кабаке по пьянствовать всласть?!

Василий медленно повернулся к мужику, что кричал ему ненужные слова. На синюю цигейку его военной ушанки слетала мелкая мошкара снега.

— Ишь, сладкоежка. Хмеля захотел напоследок! Опьяняйся смертью: близка она!

Мужик, в распахнутом осеннем пальто, ежился на ветру. Рот его зло перекоксился.

— Плохой ты солдат, слышь!.. Разве солдат мыслит о смерти!.. Он мыслит — о победе!.. Давайте-ка, соколы, побеждайте!..

— Победим... не сомневайся... а ты, ты... в Москве-реке давай рыбку себе вылови... на обед... на ушицу... у проруби посиди...

— Смеешься, солдат!.. Какая рыбка!.. Задрогну, и не откачают... никакой спиртягой не разотрут... А я, знаешь, солдат, всю жизнь прожил как святой!.. Женке всю дорогу был верен!.. А тут, думаю, все поголовно помирают, всех забудут, ветер косточки развевает, так, может, гульнуть на прощанье?.. напропалую... на все бумажки в карманах... за всю рабочую тоску... за весь обман и горюшко... за всю гречку и манку, что, шмыгая простудным носом, на кухне варила жена, надоеда... Разгуляться! Раззудись, плечо, размахнись, рука!.. стишок такой в школе учили... вот и размахнусь... правильно говорю, солдат, а?..

Он кричал, как пьяный.

Василий, стоя в танке над площадью и людьми, видел: идут люди, медленно, спокойно, будто и не происходит ничего; глядят прозрачными, светлыми глазами на бушующее пламя. И то один, то другой волокли на Красную площадь все забытое, разбитое, несчастное. Кто нес пустую бутылку. Кто волок березовое бревно, и ободранная береста, испачканная мимо летящей кровью, вилась кудрями, моталась во вьюге. У кого в руках блестела вишневым лаком старая скрипка: то ли где украл, то ли свою принес, детскую, наследную, а музыке так и не научился, зря родители скрипку покупали. Кто тащил проржавленную кочергу, давно ею в печи не шерудили, стучал ржавым железом по ледяной брусчатке. Кто с трудом, кряхтя, тянул разломанный обеденный стол, и ножки-бутыли смешно торчали вверх, как у зарезанной курицы, и скрежетала по мостовой столешница, и камни и лед царапали ее, и тот, кто сей стол тащил, говорил, плача, на него указывая: вот, я за ним с детства ел, обедал и ужинал, и отец и мать мои за ним ели, на него пищу ставили в мисках и кастрюлях, а теперь пусть он сгорит во пламени, ибо есть мне уже не придется нигде и никогда, ни за столом, ни на снегу.

И слышал Василий, в распахнутом танковом люке стоя, как вслух, громко или тихо, вспоминают люди о прежней жизни, о том, как они жили в Москве до пришествия Ада; и все, что люди говорили, выкрикали, выплакивали, он запоминал, звуки начинали течь у него в крови, — крики, голоса, молитвы.

И бросали люди принесенное на площадь барахло, свою прежнюю любимую жизнь, в огромный костер, чтобы сгорело их время, чтобы не вспомнить его; если бы можно было, они бы свою память в огонь бросили, да не достать было память из дрожащей котенком на холоду, сиротской души; там она жила, там и будет жить до огня последнего, его же никто из живущих не запомнит.

— Солнышки мои... родненькие... ближе, ближе, дайте вас крепче обниму... Видите, как наши книжки горят?.. А вот так и надо, чтобы они — в огне — сгорели... Все равно их никто не читает, так пусть хоть огонь почитает... А помните, милые, помните ведь, наверное, был тут у нас, на площади Красной, такой сумасшедшенький, ну, не в себе мужичонка, такой кудлатый-бородатый... голяком все бродил?.. у Спасской башни, под курантами, все восседал, сгорбившись, а то на снег ляжет и скрючится чер-

вячком, так, значит, спит... Помните?.. И я вот тоже помню... А он ведь истину баял: мертвецы восстанут из гробов, а ныне живущие во гробá все полягут... Вот и думаю: выходит, мы все сравнялись судьбами?.. И нет различия?.. И смерти, так выходит, нет никакой?.. Ровня мы все, ровня... вот где счастье-то зарыто... А мы-то за счастье на грешной земле все воевали, воевали... Лупили друг дружку то камнями, то топорами, то пулями, то минами... А оказалось так все просто... Мертвые — мы... И живые — тоже мы... И враги — мы... И родня — мы... Все есть мы!.. Ну не диво ли это!..

— Да, диво дивное! Да только поздно, видать, осознали мы это...

— А тебе, тебе страшно умирать?..

— Мне-то?.. А кто ж его знает... Бог всем положил умереть! Да ведь не знаем мы часа, никто!

И слышал Василий по Москве дивный звон: все церкви как с ума сошли, все церкви юродивыми стали, звон из себя наружу, как медных сияющих птиц, выпускали, как пули не смертельные, а живоносные, и звонили, звонили напропалую церкви, соборы и храмины малые, видом детские, по всей столице, звонили во Всех Святых на Кулишках и у Пимена, в Раменском и в Замоскворечье, на Никитском бульваре и на бульваре Славянском, в Сокольниках и в Алтуфьеве, и особенно ярко, мощно источала звон церковь Елоховская, раскрыты были настежь двери ее, и на всю округу, где носились запахи гари и смерти, медом и мвром пахло из распахнутых дверей ее; чудесный звон кругами расходился по Москве, сливался с гулом огня, сам становился огнем, и весь храм, качаясь от непрерывного звона в метельном мареве, становился огромным каменным костром, и достигал тот звенящий огонь храма Василия Блаженного на площади Красной, и сливались огни, обнимались, и шептал Василий, обращаясь к далекой возлюбленной:

— Ксения, Ксения, это ты мне звонишь, это я тебя пламенем обнимаю. <...>

БОЛЬШОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦАРЯ НА ПИРЕ

<...> Откинулась тяжелая парчовая, золотая занавесь. Вышел навстречу челяди, пирующим генералам и гостям Царь. Я глядел на него и не узнавал его. Где тот грозный владыка, что видом его, сведенными на лбу бровями, желваками, железно играющими на скулах, кулаками чугунными, крепко сжатыми, устрашал любого, кто представлял перед взором его?

Видишь, родная, кто перед нами...

...Бледен. Жалок. Смирн. Глаза свет природный утеряли; тускло глядят, безжизненно. Исхудал. Отощал беспредельно. При такой-то жратве — еле ноги таскает. Колени едва гнутся. Подошвы сапог шаркают по радужному драгоценному паркету. К нам идет. К нам! Да боюсь, не дойдет. Остановился. Глазами в воздухе плавает, ищет, за что бы надежное слепнушим зраком уцепиться. Жизнь! Как же ты коротка! И нельзя клясться тобой: ты непрочна, тонка, и истончаешься все сильнее, и вот уже не жизнь ты, а паутина тоньше волоса, тоньше слезы дождя.

Я гляжу на него. Он глядит на меня.

Еле слышно звучит его голос. Он это мне, мне говорит.

Руку ко мне худую тянет.

— Царедворцы мои... изловить тебя повелели. Затянуть во дворец... пожелали... Возненавидели они тебя... пуще дьявола самого. Зубами... скрежетали... я сам слышал... Стой!.. слушай... не говори ничего... скажу, а то договорить не смогу. Заманили они тебя сюда... затяли пир. Пир — видишь?.. так то в честь тебя... и свиты твоей. Ах, хороша эта свита твоя. Одна баба... другая поодаль... Бабы... опять бабы... куда ж мы, мужики,

без баб... Война — и та баба... ничего не попишешь, с армиями мужиков за бабу надо сражаться... Чья война — того и победа... А меня, а меня... а меня...

Тут зашевелились жрущие. Из кресел медленно, угрожающе поднялись люди в военных мундирах. Генералы господарские. Лица злобой перекошены. На меня глядят. На Катерину не глядят. На тебя, смиренная Ксения, не глядят. Я — добыча. Я — дичь.

— Василий!.. Они предали меня!.. Они...

Обводит тощей, высохшей рукой сытых, довольных. Вздрагивают генералы. Ненависть ярче, мрачнее вспыхивает на их лицах, заливая скулы и лбы гневным огнем.

— Они все предатели!.. Думают, они пир затеяли... а это я... я пир затеял... им в пикку, в противовес... чтобы они, тут, на пире, отравой обожрались... и все, все, как псы... передохли... под лавкой... под печкой... под забором...

Генералы повскакали со стульев, выпрыгнули из бархатных кресел. Потрясенными взглядами обводили царя, меня, Дяволицу, люстру, что неистовым хрустальным маятником на метельном сквозняке качалась над нами, скособоченные парсуны на стенах, рвущиеся пламена свечей в чугунных шандалах. Заорали! Руками в воздухе заполоскали, как безумные еноты над корытом! Пытались криками рот Царю заткнуть! Не тут-то было. Возвысил он голос. Последние силенки в кулак собрал. Я видел, он не перестанет говорить.

Он должен был сейчас все сказать. До дна. До капли крови.

До последней правды.

— Да! Василий! Они все предали меня. Измена!.. А ты, ты вот здесь, предо мной... ты... ты... меня... не предашь?!..

И мне надо было сказать правду.

Шагнул я шаг, пот тек по лицу моему, кулаки сжимались в судороге, ты все видела, и упала расстегнутая, пропахшая порохом шинель с моих плеч.

— Если твоя истина ответит душе народа моего, я приму ее с радостью, и во спасение народа моего и тебя жизнь отдам. А если ты велишь мне не народ мой спасти, а единственно шкуру твою, то прости, не обессудь, не буду я исполнять приказы твои! Не подчинюсь тебе! И такова правда моя, такова истина моя! На том стою! Я сын народа моего! Права Ксения Блаженная, дочь народа моего: время зализывает раны и заметает снегами царские могилы, а народ вечен, и его надобно воспевать, спасать, кормить и любить! Народ — вот мой царь! А ты ведь не народом избран, ты есть наследная власть! Да, власть свята! Да, корона на тебе, и мантия на тебе, и скипетр в деснице твоей, и держава в шуйце твоей! Да ты, Царь, не Бог, ты всего лишь человек, как и я же, и наша дружба обернется единоборством, и готов я хоть сейчас выйти на бой с тобой, ты-то меня однажды уже к смерти приговаривал, да запретил ее Господь; Господь и теперь нашу битву запретит, ибо неравна она, разве могу я тебя ударить, когда болен ты? Разве могу я тебя одною рукой к ногам моим положить, когда слаб и немощен ты?!

Молчание наполнило зал и стояло в зале, и пьяная черная вода молчанья плескалась у звездной люстры, под лепным потолком.

Тихий хохот раздался. Хохотала рыжая Катерина.

— Ха, ха, ха!.. ох... Пожалел!.. Смилоствился!.. Дурак!.. Да ты убей его!.. Убей!.. Пока он немощен!.. Пока он слаб и слеп!.. Пока никто из этих жиряг, дельцов, обманщиков, хватов, слышишь, никто не воспротивится тебе... если ты, ты поборешь его... и займешь его место... Его! Место! Его! Трон! Ха, ха... ха...

Одиноко, мрачно звучал в тишине ее вкрадчивый, отвратный хохот.

Царь сделал ко мне шаг, другой. Так, шаг за шагом, медленно, как во сне, подбрел ко мне.

Я глядел ему в глаза. Он глядел мне в глаза.

Наши глаза звонко, железно ударились друг о друга.

Мы схватились глазами. Мы взглядами сражались.

И это было страшнее всего.

— Противостоишь мне, — прохрипел он, — все равно противостоишь... а я думал, будешь помощник мне... будешь правая рука моя и левая пятка моя... а ты...

Глаз не опускал.

И я глаз не отводил.

И страшно мне было, и ни в каком танковом, диком бою, когда все вокруг горит-пылает, мне не было так страшно.

Ксения моя, а ты стояла там, далеко, у двери в зал, обводила взором пирующих, скользила небесными твоими глазами по лицам сытым, наглым, по двойным и тройным подбородкам, по обнаженным шеям в жемчугах, по елочным игрушкам медалей и героических звезд, что звенели на болотных мундирах, снежных кителях, лацканах пиджаков и отворотах смокингов, ты зрела, как люди толкают в зубы кур и шук, как вливают в глотки херес и мадеру, коньяк и чачу, ты жалела их, ты сожалела, что они такие, ты безумным сердцем разделяла с ними их страдания и их наслаждения, что никогда в жизни не были твоей болью и твоими радостями, но ты искала к ним пути, вдыхала, вливала в них чувство твое, кое им не надобно было, они обсосали бы его, как телячью косточку, отбросили бы вон от себя, швырнули под стол, под бархатную белую скатерть, собакам! Ты поодаль стояла, Ксения, молча, и ты ждала, ты за них молилась, а превыше всего молилась ты за меня, чтобы я жив остался! Чтобы не был казнен прежде сужденной мне смерти!

— А ты... тоже... предал... меня...

И не нашелся я тут, не знал, что ему ответить.

Он сказал мне свою правду.

Я — в сердце — хранил мою.

И знал я непреложно: правда всегда одна.

— Приговор ли то твой мне, царь?

Вопрос мой прозвучал под сводами нарядной палаты ударом палачьего топора о древняный кровавый спил. Вокруг стола стояли, кулаками потрясали, пьяно качались генералы, мажордомы, купцы, промышленники, путейцы, иереи, фрейлины, казначеи, густая нелепая толпа роскошно одетой знати. Их речи на миг вспыхнули и тут же угасли. И в тишине, где страх обнимался с ненавистью, раздался слабый голос Царя, и схватился он слабою рукою за спинку ближнего кресла, обитого кровавым бархатом:

— Ты танки в Москву привел... армию твою, войско твое... Зачем? Не взять ли власть мою вознамерился?.. Отвечай открыто... не таись... я ложь за версту чую...

Что мне было делать, Ксения? Что было делать всем нам?

Царская власть свята. Да правда святее.

— Да. Хотел тебя с трона скинуть. Власть твою забрать. Себе. И самому — народу служить.

Лицо его, бледное, иззелена-светлое, светящееся страхом близкой и неотвратимой смерти, плыло предо мной белой узкой лодкой, и глядел я на его подбородок, нынче без бороды, гладко выбритый, глядел на глаза без надежды, на веки без ресниц, на щель шевелящегося с натугой рта, что ронял не слова — горькие ветки полыни; и понимал я, что не должен быть говорить того, что сказал, но не зря же я проделал бесконечный, длиною в жизнь, путь по Аду, недаром же я здесь, среди Ада, среди военной Москвы, стоял и на него открыто, не таясь, глядел.

И был он нынче священник мой, и был я нынче исповедник его.

Так Господь положил нам.

— Но ведь это бунт, генерал!

— Бунт, мой государь.

— Бунт наказуем! Я велю казнить тебя!

— Изволь. Однажды ты уже велел казнить меня. А я вот он я, пред тобой.

— Ты... ты!.. — Он захрипел. Дернул к себе кресло. Оно всеми четырьмя изогнутыми еловыми ножками со скрежетом и стоном поползло по навощенному паркету. — Бунтарь!.. Ты не только предал меня... ты... меня... мятежом твоим... убил... растоптал!..

И вдруг, Ксения, не знаю, что со мною в сей момент сделалось, но я ощутил его, старого, седого, немощного, со слабой, жалкой улыбкой, и зубы во рту есть, а улыбнется, вроде бы их и нет, так улыбка пуста и горька, — моим ребенком, дитенком, коего у меня никогда не было, не породил я дитя на свет Божий, только чужих, незнанных детей хоронил, а тут вдруг старый мой ребенок стоит, чуть не падает, чуть не плачет, и это я, так получается, его глазами избил, его честностью моей поборо, его... самим собою, героем, изничтожил! Так где же тогда моя надмирная юродская слава! Значит, я стал по людским законам играть в людскую игру! Прельстила меня честь, прельстили победы на поле брани! Обольстил хитон спасителя народа, мысль соблазнила: а может, спасу мой народ, а может, война-то не последняя! И забыл я Божию жалость, забыл себя голого, сидящего во площадном сугробе! И как медвежья шкура шевелится на моих плечах нагих! И как ясный взор в толпу вонзаю, и на солнце могу и умею без боли глядеть!

Погляди на Царя твоего без боли. Без стыда. Сам себя устыдись. Перед царем — покаяйся.

Я встал перед ним на колени.

Сколько раз я так, смиряясь душой, на колени вставал пред любым человеком, распоследним самым, пред разбойником, нищим, торговцем обманным, бабенкой-гадалкой картежной, мальчонкой с куканом свежеизловленной в проруби рыбы, ясноглазым иереем, крестьянкой в лапоточках, вот так, так, не в пиршественном роскошном зале, а в снегу, в площадной метели, под тусклыми, мигающими в ночи масляными фонарями?..

Царь мертвой хваткой вцепился в кресло.

Казацкая шапка золотого бархата свалилась с его головы и грянулась убитым зайцем о скользкий паркет.

— Я люблю тебя. Прости меня, Царь!

Я увидел: глаза его блеснули слезой. Я увидел это, Ксения! <...>

ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ САМОЛЕТА, ЛЕТЯЩЕГО НАД АДОМ

Кто, как, когда отыскал ему летательный аппарат, с крыльями, разбросанными шире Большой Медведицы, с ослепительно блестящим фюзеляжем, с верткими шасси, что, как нелепые цыплячи ножонки, таинственно и смешно высывались из разверстого серебряного брюха? С кем он говорил, придя на заштатный, странный аэродром в сиротских, пустынных полях близ горячей бесчисленными кострами Москвы? Он не запомнил людей в лицо. Запомнил лишь промасленные робы. Хриплые, кряхтящие голоса, ненужные клятвы, отдавание чести, навывтяжку стоят, выпячивают грудь, выгибают позвоночник, уважение надо ярко выказать, а генерал, он что, он разве приставит тебя за это к награде, да он хоть и шишка на ровном месте, а такой же человек, как ты. Военной молью побитый!

Кто, зачем изгибал пред ним спину, пытался услужить ему, приятное сделать, на подносе — цыпленка табака поднести? В полете, любезный генерал, вам опять жареную курятину подадут. Такие наши правила небесные. Да ведь беда; куры все перевелись; петухов всех сожрали; гусям всем, вот жалость, шеи свернули. Да в костер, в костер! В котел, и баста!

Разрывы гремели. Битва шла и шла и кончатся не собиралась. Идя по Москве, созерцая ужас живой и мертвый, он думал: ну, все, устанут люди от смерти; ан нет, не уставали, только, творя ее, распались от вида ее все сильнее и злее. Он сквозь зубы бросал тем, в камуфляже, на аэродроме: неважно, добровольцы вы или воюете по контракту, вас начальство все равно построит в армейские ряды, вы станете армией, а меня уж с вами не будет, и не спрашивайте, кто станет вами командовать! Не знаю я. Я могу придумать, враньем вас утешить. Да лучше и страшнее правды ничего нет на Божием свете. Крепитесь! Вам еще воевать. Не любопытствуйте, куда лечу! Вам сей полет не по плечу.

Он шел, переваливаясь в сапогах с налипшими комьями грязи, по летному полю, шурился на самолеты и вертолеты, что то садились, то взлетали опасно и судорожно, дрожа лопастями, суетясь жужжащими оборотами железных винтов.

Я неудобен. Я негоден. Я сам-то себе негоден. Сам себя иной раз готов растерзать; покаяться в том, чего никогда не бывало. Человек человеку враг. Человек, глядя на человека, хочет, чтобы тот, другой, стал как он, и разъяряется, когда видит, что нет, не станет другой, как он, и тогда хочет другого убить. Вот вам и причина войны. Вот дьявольский путь. Злоба. Зависть. Ненависть. Месть. Война. А что после?

— Генерал! Куда вы! Вот ваш самолет!

Он остановился. Серебряную машину обтекал чистый холодный ветер. Рядом с небесной птицей он, в грязных сапогах, в шинели, заляпанной воском, глиной и кровью, в продырявленной пулями генеральской ушанке, сам себе казался метлой, коей дворники Москву метут; лопатой, коей они, ночные работники, снег скребут.

— Ясно!

— Трап спустили! Поднимайтесь! Там вас наши люди ждут!

Наши. Что такое наши? Сегодня наши, завтра чужие. Предатели. Сегодня преданные донельзя, а завтра тебя предадут. Предать — что это значит? Кому отдать? Передать? Богу? Преисподней?

Предайте меня огню. Я давеча ему, как Богу, молился.

Поднимаясь по трапу в самолет, он видел слепые иллюминаторы, стекла отсвечивали кровью неба и снежными бинтами, обматывающими летное поле.

Я улетаю. Все внутри меня гудит. Я сам есмь самолет. Раскину руки, и поминай как звали. Я прыгал однажды с колокольни Ивана Великого; привязал к рукам самодельные крылья и прыгнул. Эх, красота! Крылья сам сварганил: из бумагеи, льняного полотна, рыбьего клея, гнутых деревяшек, отрубленных куриных лап, рыбацкой сети. Долго делал. Все смеялись надо мной, пальцами по лбу стучали: безумец! дурачок! юрод! полоумный! Куда рыпаешься! Пошто с жиру бесишься! С колокольни он, видишь ли, прыгнет; жить надоело?!

И прыгнул... и летел... и внизу стоял мелкий, дрожащий народец, черные букашки-людишки, мои родные, безмерно любимые люди, и орали они наперебой, и пальцами в меня, летящего, тыкали, и бабы визжали, и ребятня смеялась залиvisto, громко... Юрод!.. Юрод!.. Глядите-ка, Васька-то из сельца у гольца — вниз сиганул!.. Сей час, глядь, разобьется!..

Я не разбился.

А может, разбился. Я не помню.

— Проходите, товарищ генерал!.. Самолет пустой... выбирайте кресло, какое хотите...

Василий наклонился, чтобы войти в овальный, в виде яйца, дверной проем.

Чернота. Какая тьма. Вступаю во тьму. Нырять во тьму. А что за ней?

Девушка в пилотке улыбалась навстречу ему, словно век его не видала, и вот встретились наконец-то. Девушка скуластая, румянец во всю щеку, на плакате старинном нарисованная, слишком смешливая, улыбка сверкающая, а кудерьки на висках седые.

— Не пустой. Мы ведь с тобой тут, милая, полетим. А еще летчики. Первый пилот, второй пилот. Все как надо.

— Так точно!

— А если самолет наш вдруг падать будет — ты посадить его сумеешь? Обучена?

Девушка покраснела ягодой малины.

— Так точно, товарищ генерал!

Василий засмеялся — так хорошо, готовно и светло она выпаливала это армейское «так точно».

— Тогда я спокоен!

Счастливица. Она не знает ничего о болезни Царя. О торжестве Дьяволицы. Ей кажется, все скоро закончится: завтра, послезавтра, через месяц, через год. Она не понимает: есть вечность. И с ней шутки плохи.

Он плотней уселся в кресло и откинулся на мягкую спинку, и внезапно она стала твердой, железной — самолет сдвинулся с места и почти мгновенно набрал скорость отрыва, Василий не заметил, когда он отделился от земли и стал упорно, неумно набирать высоту. Юрод глядел вниз. Все вниз и вниз. Чернозем. Белые полосы грязного снега. Больничная марля небесных бинтов вдоль и поперек по израненной земле. Стонет земля, да всем на ее стоны плевать. Реки мерзнут, дрожат. Кричат столбы, визжат туго натянутые, смертельно обвисшие под ветром провода. Руины, руины повсюду; руины застилают черноту, заслоняют деревья и косогоры. Бывшие храмы. Бывшие риги. Бывшие овины. Бывшие подворья. Бывшие бараки. Бывшие колодцы, водопроводы, водонапорные башни. Жизнь бывшая, она так быстро и незаметно перестала быть сиюминутной. Зачем человеку прошлое? Чтобы он на него любовался?

Пусть меня Царь обвиняет в чем угодно. Ему я неподсуден. Только Богу. Никакая земная власть теперь не вольна надо мной. Куда я лечу? Сам себе я запрещаю об этом говорить. Пусть даже для меня самого это останется тайной. Виню ли я себя в том, что воевал в Аду? Что вел вас, бедные бойцы мои, через Ад? Простите мне. Я всего лишь юрод. И сейчас полечу туда, где никто из вас еще не бывал и о том не слышал.

Самолет неуклонно поднимался, все вверх и вверх.

Он летел над Адом.

* * *

Ад самодержавный. Ад в мантии снежной. Горностай тайги. Ожерелья дорог.

Ад, а где же Бог? А Бог в другую сторону летит. На другом самолете.

Земля расстилалась под ним, самолет набирал высоту неуклонно, могуче. Василий не хотел смотреть на Ад, но смотрел, смотрел в иллюминатор. Тучи плыли мрачные, цвета нефти. Летательная машина пронзила слои туч и вырвалась на свет, к солнцу. Ад просвечивал внизу живо, горячо льющейся кровью. Где кровь, где земля? Они крепко обнимались. И чем выше поднимался самолет с генералом внутри, тем яснее виделась ему отсюда, с неимоверного верха, дорога вниз, все вниз и вниз, кругами, черной спиралью: в глубокую воронку уходила дорога, а земля разевалась медвежь-

ей пастью, драконьим черно-красным зевом, яминой без дна — могилой, где захоронено будет время, когда и ему выйдет срок.

Василий видел отсюда, сверху, своих бойцов. Танки шли, и шли, и шли, танкам не видно было конца — новеньким и обгорелым в битвах, зачехленным и железно-голым, покрытым иероглифами дерзких надписей и полудетских рисунков и напроочь закрашенных нефтяной, земляной краской. Железо и земля. Так заповедано.

Господи, ответь, Твой ли крест война? Может, она не наказание человеку, а награда Твоя? Чтобы не умирали мы, хрипя бессильно, в сиротьей постели, на буранных площадях близ дико орущей зазывные частушки рыжей торговли, а погибали с честью, со славой, в неравном бою, обливаясь кровью и Тебе молясь, — героями?

Танковые клинья шли, и шли, и шли, забивались глубоко во вражий тыл. Генерал не знал, не понимал, наступление проводить он сам приказал или танки, суровые танки все сами решили. За него. Без него. Все знают: он улетел. Им Господь сообщил. Или Дяволица. Теперь уже все равно.

Куда я лечу? Свою ли медвежью шкуру спасаю?

Или мне дано Ад сверху увидеть напоследок, прежде чем я в него, на самое его дно, молча спущусь?

Переплетение тел. Круговращение тел. Тела небесным колесом крутятся вокруг черного бездонного зрака, Всевидящего Ока. Ксения говорила ему про сей Небесный Глаз. Он не верил. Вот — увидел. В черном космосе есть множество неизреченных тайн; и вот Всезрячее Око, оно тебя пронзает, оно втягивает тебя в себя, не отвертись, и самолет твой летит именно туда, в эту круглую черную пропасть.

Яма под летящим самолетом разверзалась все шире и глубже. По земному кругу, над ямой, трепыхался на ветру голый тощий березовый лесок. Ветер гнул и ломал жалкие тонкие стволы. Березы валились наземь, как от взрывной волны.

Первый круг. Там слепые бессильно орут. Насильники там грудь себе царапают, и ногти их отросли подобно зверьим когтям, и с губ их капает красная слюна: повывили им зубы, исхлестали по щекам, а кто, и имен не запомнили. Второй круг. Лети, машина! Куда бы ты ни полетел, ловкий гладкий самолет, а все равно все, уходящие вглубь страдания, круги видно! Сладострастники хохочут, а пламя лижет им ступни, а топор воздымается, и палач отрубает запястья: не погладишь теперь ласковыми пальцами ни щеку, ни уста. Третий круг, третий! Мы не преступники! Мы просто люди, люди! Василий глядел вниз, и видел, как люди плачут кровью, и по его впалым, заросшим густой бородою щекам тоже стекали красные крупные капли. Не плачьте! Мне так же больно, как вам! Так же томно! Дико! Дурно! Отчаянно! Страшно!

Самолет летел вперед стремительно, и все никак не мог миновать яму, уходящую к центру Земли, узкую воронку предвечной могилы, словно бы ползла яма за самолетом по земле, так и подсовывалась ему под брюхо, и не мог юрод оторвать взора от воронки, круглой, так похожей на небесное Око Всевидящее: так земля черным зеркалом небо отражала, так земля изнутри на него, на полет его глядела, так, черный круглый рот раскрыв, безголосо, страшно ему пела, последний псалом, последний кондак, так черною сетью рыболовецкой снизу вверх взмывала, на него надвигалась, и то правда, поймать, поймать Аду насовсем надо свободную серебряную железную рыбу, с этим дерзким, вольным безумцем внутри! Раз и навсегда поймать! Еще немного... еще изловчиться... еще...

Четвертый круг, пятый... шестой... кто там мучится... кто вопит и стонет? Он глядел, да уже не видел. Радужки заволакивало пеленой слез. Вот бы из парчи слез пошить мафорий. Облачение иерея не из муара, не из атласа, не из кокетливой тафты и густо надушенного гипюра — из слез полночных, из вздохов нежных и тяжких, из бормо-

тания просящего, потаенного: Господи, оставь мне жизни любимых моих... Господи, не покинь!..

Круг седьмой. Будь со мной. Ангел вострубил. Кровь разбросала великие щупальца-реки, речушки, речонки вширь по угольной, высеребренной жестким льдом, смиренной земле. Земля свыклась с Адом. Земля его родная, глядишь, и мыслит вся, всеми слоями своими: я и есть Ад, что людям его в подземье искать; он везде, на поверхности он, на дне реки он, под камнем он, дома от взрыва падают, распадаются на куски, разламываются черствым хлебом, бетонным ситным, деревянным ржаным, — не уйду, шепчет земля, от Ада, он мой владыка, склонюсь к ногам его и испрошу прощения у него, за все, что я, земля, и люди мои содеяли, чая достигнуть Рая, за долгие века.

Выше забирал самолет! Круг восьмой разверзлся. Там воры и убийцы обнимались с праведниками и святыми. Все по заповеди Господней там случалось: прощали святые грешникам грехи, и плакали бедные, исстрадавшиеся грешники у них на груди. А кто раньше не раскаялся, не сумел, не хотел, — сейчас, выставляя ужас, скрипя зубами, вопя от боли, на коленях полз к тем, кто от судьбы не отказался. И от Бога не отвернулся. И в язык родной смачно не плюнул. И, когда предлагали веру сменить, крепко на земле стоял, говоря так: никогда! Бог мой — со мной, в радости, и в горе, и в смерти самой! И убивал враг верного вере своей. А теперь грешник тот, убийца, что глотку верующему во Христа перерезал, на животе, на локтях, землю пятернею цепляя, полз к праведнику тому: прости!

Ползла яма, выбрасывая вперед и назад кровавые щупальца, в тени самолета, стремившего бег в небе. Василий вцепился в подлокотники кресла. Что там, в глубокой, густой, непроглядной тьме круга девятого и последнего? Что — на Адовом дне? И есть ли оно, Ада дно? Может, еще ниже и глубже уходит ямина, и тонут там все мысли, чувства человека и зверя, гаснет в последней тьме все, что мы лелеем и любим, проваливается и летит в бездонье не только тело, кувыркаясь в разъятом пространстве, но и душа, душа?

Душа...

Василий судорожно, больно цапнул себя рукой за грудь. Где она, душа? Где гнездится птица? Тут? Вот тут?.. Под ребром... почуять нутром...

Он щупал себя, распахнув китель, за грудь под гимнастеркой, рвал гимнастерки ворот, царапал погоны, хватал себя за шею, за кадык, утопали его худые пальцы в мохнатой медвежьей бороде, он пытался нащупать вместилище души, последнее ее прибежище, где же, где, гимнастерка горела под ладонью, пуговицы разлетались, катились по полу самолета, а ведь пол сей запросто, через миг, станет потолком, все же перевернется, и пикнуть не успеешь, и это ты, да, ты упадешь, свалишься в девятый круг, в последний круг, он разомкнулся под тобой, он ждет тебя, и ты не отвертись, тебе суждено, ну разве можно побороть судьбу, все же письмена на роду написано, ты же помнишь, медвежий ребенок, толстую, в телячьей коже, великую Книгу Песен под образами в избе, около нее все так же горят толстые, с конскую ногу, медовые витые свечи, да, две таежных свечи, величиною с добрую лапу медвежьей, твоя мать, Марина, сама из пчелиного воска их наведни слепила, сама фитили из конского волоса в их сердцевины воткнула, сама громадной спичкой по синей коробке долго чиркала, чтобы возжечь. А ты стоял и смотрел, малец. Рот разинут. Глаза светятся аквамаринами. В таежной речонке сии самоцветы мать нашла. Лесушко бажонный, спасибо тебе, нас, грешных, возрадовал, меня и сыночка моего, медвежонка возлюбленного, уж распотешил! Век не забудем! Век помнить будем!

Он уперся взглядом в черную дыру, что расширялась на дне воронки, под девятым, самым слезным, обреченным кругом, и сердце его замолкло, потом дрогнуло,

потом дико, быстро застучало. Сотни, тысячи молоточков выбивали под ребрами дробь. Его бойцы работали оловянными солдатами, пребывали забытыми, без роду-племени, полковыми музыкантами. Не останавливайся, шепнул он самолету, только лети, не бросайте штурвал, что бы ни случилось, шептал он летчикам, да никто его не слышал, самолет летел все так же уверенно, гудение царило в заоблачном холоде, предвещая битву, а потом невероятное замирение, в подлинный, навечный мир уже никто не верил, может быть, лишь далекий царь краем сознания, краем неизжитой любви еще верил в него.

Я помню каждый солдатский крик. Каждый предсмертный хрип. Каждого убитого. А они, они помнят меня на небесах. Я знаю. Враг думает, самолет летит бомбить его города, а это просто со мной внутри летит железный крылатый бочонок, и я даже не спросил первого пилота куда. Что надобно мне? Выждать в тылу? Накопить силенок? Занять оборонные рубежи? Накричать на виноватых подчиненных? А если не виноваты они? Мои танкисты! Я люблю вас! Я никому не дам вас в обиду. И даже себе не дам.

Черная яма поднялась ужасом над землей. Надвигалась. Летела по ледяному ветру угольным диском. Падают, бьются друг с другом люди. А земля-то одна. А жизнь одна. И Ад один. Да ведь и Рай один.

А где, где тот Рай? Сколь веков прожил я, медвежий Блаженный, на землице, а вот до Рая не дошел. Так и не увидел Рай. Да так и не увижу. А жаль. Красивый он, должно быть, Рай. Яблоки там... мандарины... смоквы сладкие... виноград висит тяжелыми гроздьями, разноцветный... медовый, золотой, рубиновый, синий... и звери, да, там гуляют звери, на воле, без оград и злобы, без кнутов и решеток... праздничные, ласковые... волки тебе башками о колени трутся... лисы хвостами ласкают... А там кто, гляди-ка, Медведица-мать!.. и вокруг нее медвежатки клубками по снежку катаются... и стоит рядом с ней моя мать, знахарка Марина, и руку зверице на загривок бесстрашно положила... и шерсть ее черную, густую, как зимние иглы еловые, все гладит, гладит, гладит...

А я, я — все лечу и лечу...

Красная Луна вставала в небесах напротив Солнца. Солнце светило бешено, разъяренно. Красная Луна катилась с небес на землю, она понимала: еще немного, и упадет. Василий глядел на Красную Луну; он вспомнил Красную площадь, и пьяного Бармузодчего, коему он будущее предсказал, а хмельной Барма ничуть тому не поверил. Верь не верь, а время судьбы придет! Тебя не спросит.

Пыль хрустит под ногою Ангела. Овевает крыло самолета. Рыжекосяя тайга под крылом.

Меня никто не подаст на пиршественный нарядный стол на фарфоровом блюде. Никто не набьет мое брюхо, как румяной утке, резаными яблоками. Никто, слышите, никто не нафарширует меня, как щуку, моими же потрохами.

Где он летел? Он не понимал. На обратной стороне Мира? На теневой, неведомой лунной стороне? Небесная медаль на геройской груди то сверкала, то мерцала могильной чернотой. Есть ли сознание там, в заперделье?

Вот когда умрешь, тогда и узнаешь.

Он закрыл глаза, но зрачки его огнем горели и веки насквозь прожигали, и он видел и с закрытыми глазами. Он видел душой. Самолет летел. Но вроде как и не летел. Застыл. И все внутри него застыло. Омертвело. Он не двигался. Пристегнуться ремнями безопасности забыл. А если самолет будет падать? Ну будет и будет, так записано в растрепанной, весом в пуд соли, материной Книге Судеб, в ее последнем псалме. Он будет падать и упадет в иное царство. И никто из живущих до него не достигнет. Славная ли это судьба?

Я не хочу умирать! Не хочу умирать!

Кто его слышал? А вот услышали же. Милая, с мордочкой хорошенькой таежной лиски, небесная девушка подошла к нему, услужливо склонилась, а он с улыбкой глядел, как ее хорошенькая, кокетливая коротенькая юбочка ползет вверх, все вверх и вверх по бедру, становясь все смешней и короче.

— Вам что, генерал?.. Может, что-то подать?.. У нас есть коньяк... курочка к нему... ой нет, лучше всего, конечно, шоколадка...

— Еще лучше лимон. Тонкий ломтик лимона.

Стюардесса засмушалась. Как хорошо, красиво она умела краснеть! Во всю щеку взбегал темный румянец, будто бы она только вбежала в самолет с жестокого железного мороза, в мехах и козьей шали, или пред зеркалом ломтиком свежей свеклы скулы себе щедро намазала.

— Лимона... нет!.. Жаль, но вот нет... не захватили...

— Это ерунда. Неси коньяк и шоколадку.

Небесная девушка упорхнула и быстро прилетела снова, изогнув тонкую спину, поставила на откидной столик перед Василием маленький поднос; на нем стоял большой, круглый, как мяч, бокал коньяка и лежала крошечная, воробышку клюнуть, шоколадка.

Василий задумчиво развернул фантик, захрустел фольгой и вытащил шоколадку. Положил на ладонь. Поднес на ладони стюардессе.

— Вот. Угощайся. Жаль, что у тебя крыльев нет.

Девушка взяла шоколад из руки генерала. Растерянно глядела. Шоколадка таяла в ее руке, пачкая пальцы, пахла сладко.

— Каких... крыльев?..

Василий тихо рассмеялся.

— Обыкновенных. Таких, знаешь, больших, широких. Ангельских. А впрочем, кто тебя знает. Может, и есть. Только ты их скрываешь. Таишься. У хороших людей они есть. Они без них не могут жить. На земле крылья никому не нужны. Но, когда мы улетаем, они могут очень даже понадобиться.

Она разжала ладонь. Шоколадка вся растаяла. Василий взял ее руку в свою, поднес вымазанную шоколадом ладонь ко рту и вылизал всю ее ладошку языком, как пес.

Она вырвала руку и зарделась еще пуще. Прижала ладони к щекам.

— Ой, ну какой вы...

— Выпьем! — Василий взял с подноса бокал. Грел его в ладони. — За победу!

— Ой, да, за победу...

— За любовь!

— Да... согласна...

— За тебя!

— Ой, ну что вы...

Он глотнул коньяка и протянул бокал стюардессе.

— На! Держи! Пей!

— Да я... да нет, лучше...

— Это приказ!

Он подмигнул ей и накрутил прядь волос из длинной, безумной бороды себе на палец.

Глядел, как девушка пила коньяк. Глотала, боясь его, генерала, послушаться.

— Ах...

Махала ладошкой вокруг рта: горечь, огонь по-детски утишала.

Василий вынул у нее из руки бокал и допил остатки. Самолет гудел, летел.

Спокойно все было вокруг.

И в небе, и на забинтованной лазаретным снегом земле.

Горели земные огни. Горели огни небесные.

Летели в самолете девушка и генерал.

Выпили на счастье в Аду коньяка.

Может, она там, в иных веках, станет моей Ангелицей. Дева-Птица, я не забуду тебя. Ни теперь, ни тогда не забуду.

...И они не поняли, как, зачем и когда раздался удар; мигнула молния, отнимая зрение; и разнесся дикий треск, вынимая из черепа слух; и осталось еще время для того, чтобы крикнуть совсем немного, очень мало слов друг другу, не летчикам. Далеко они, ужасались содеянному там, в пилотской кабине. Быстро надо было кричать, напоследок, и не кричать, а хрипеть, а может, визжать, нет, конечно, шептать, и шепот другой услышит, а может, тебя обнимет, прижмет к себе, утешая, спасая, хоть и нельзя никого никому спасти.

Поднос с пустым бокалом и конфетной фольгой падал на пол. Миръ кренился в иллюминаторах. Василий крепко, сильно, горячо обхватил длинными, костлявыми, сумасшедшими руками площадную побирушку. Они стояли на осколках стеклянного снега. На рынке все — торговцы, зеваки, ямщики, мимоходы, мальчонки-воришки — вопили в голос.

— Падаем!.. Падаем!..

— Господи, да спаси-сохрани-помоги, святой Боже, святой крепкий... святой бессмертный... помилуй нас!..

— Держися, народ!.. Ведь завтра в поход!..

— Кренимся, валимся, людие... друг за дружку хватайся!.. так спасемся!.. выдюжим так...

Он крепче вжимал в себя худенькое, жалко-нежное, рыбье-скелетное, дрожащее зимней веткой на ветру девичье тело, тело смертное, мимолетное, незнакомое, и завтра забудет, а ведь даже сегодня уже не будет, так что ж о завтрашнем дне речь бестолковую вести. Самолет валился и разваливался на куски, выдувало из него все живое и мертвое, они оба теряли сознание, но все еще не потеряли, не выпускали из рук и из губ. Их сердца толкались друг в друга, выбивая друг друга из грудной клетки, чтобы взамен страха туда, под ребра, последнюю любовь и заботу впустить, и елозили руки их по спинам друг друга, ее — по болотному кителю генеральскому, его — по форменному, суконному синему пиджачишке стюардессы, ангельской официантки. Да это ж лучшее, вкуснейшее застолье, милая, какое я, царский повар, только видал и вкушал в жизни моей, ни за что и никогда, и в смерти самой, этот терпкий коньяк между небом и землей не забуду. И сорвал резкий ветер железный потолок у них над головой, и разорвал надвое, натрое, на множество кусков железную ткань, что защищала их в полете от верной смерти среди звезд, и разломился хлеб жизни, а они так и не успели отщипнуть от него по кусочку — белого хлеба, белого снега, белорыбицы, белого, пьяного вина из белого, зимнего винограда, вина последней клятвы. И летная девчонка, дрожа, обхватила генерала плотнее некуда, как жена мужа внутри свадебного камчатного, шелкового света, и заорала недуром:

— Падаем! Генерал! Падаем!

И крикнул он ей в ответ, понимая, что не это бы надо ей выкричать, а нечто иное, но глотка крикнула сама, вылетело слово, излетел дух:

— Не падаем! Нет! Улетаем!

И лицо его возлюбленной Ксении, с закрытыми глазами, с улыбкою самозабвенной, глянуло на него вместо испуганного личика незнакомой девушки, и имени он ее не знал, и не узнает никогда, а они уже летят в небесах, вольно и страшно, и ветер

вырывает девчоночку у него из рук и несет рядом, несет поодаль, уносит, крутя в воздухе, и она кричит, а он не слышит крика, только видит разинутый в вопле рот, и улетает она, тает, исчезает.

А он один летит. Летит.

КТО ОДОЛЕЕТ

Диаволица все рассчитала точно. Она хорошо видела цель. Надо было взорвать снаряд в небе впереди летящего самолета. Прицельное устройство все верно ей показало. Она улыбнулась. Изогнулись торжествующе красные, маслено-блесткие губы. Она поднесла руку к спусковому крючку. Зенитная пушка замерла. Ждала. Отсвечивала облупившейся болотной, военной краской. Огонь!

Не успела поджечь древний порох.

Юродка выросла из-под земли, из крови и снегов, и схватила ее за руку.

— Что ты тут делаешь, дрянь!

Диаволица плюнула Ксении в лицо.

Ксения продолжала крепко держать, отводя в сторону от пушки, ее руку.

Катерина руку зверино вырывала. Обжигала Ксению злыми глазами.

— Сгинь-пропади!

Блаженная не исчезала. Не пропадала.

— Умри!

Она не умирала.

Две женщины боролись. Странная то была борьба. Стояла Блаженная, крепко за запястье Диаволицу схватив. Так вцепилась ей в руку, что пальцы в кожу, в плоть вдавились глубоко, как в спелое яблоко; и вот-вот закапает сок, испянает снег под ногами. Катерина стояла, широко ноги раздвинув, как мужик, изо всех сил уперев их в мерзлую, комковатую, застылую черную кашу вспаханной недавним боем земли. Ветер страшно, зло развевал волосы обеих. Рвал рыжие, нагло-алые косы Диаволицы. Безумно, весело мешал их, спутывал с несущимися вдаль злато-седыми космами Юродивой. Слившись, летел по ветру длинный космос кос обеих. А ведь одна баба сейчас умрет, а может, и другая, да наплевали они на смерть, одной важен меткий выстрел в небеса и гибель самолета, другой — победа над злом, его царством и яминой, Адом его.

Каждому да воздастся по делам его? По сердцу широкому его!

Ксения потянула Диаволицу на себя. Будто желала обнять. Поцеловать. Быстро поняла рыжекосая замысел Блаженной. Сейчас подтащит к себе, обеими руками обхватит, на снег повалит. Разгадали мы тебя, Божия тварь!

Крутанулась Катерина вокруг себя, упустила Ксенья ее хищное, увертливое запястье. Упала на юродку грудь. Упала Блаженная на притоптанный снег. Лежала, раскинув распятые руки. Наступила Диаволица ногой на грудь Ксении, обнятую мешковиной, придавила ее башмаком к земле жесточе, теснее. Стон вырвался птицей из Ксеньиной груди, вспорхнул из-под ребер.

— Жалкая! — крикнула Катерина.

Стоя ногою на груди поверженной Ксении, опять протянула руку рыжекосая к болотному пусковому механизму. Нажала на спуск до отказа. Порох внутри железа возжегся. Снаряд вылетел из пушечного жерла; машина рассчитала все точно, обладая железным ледяным разумом, направила ракету прямо по курсу самолета — туда, вперед, где железный крест слой воздуха еще не пролетел. Снаряд взорвался там, далеко, полетели осколки, вонзились в бока самолета. Поохотилась Диаволица удачно, свершилась месть, и обе женщины глядели в небо и видели: разломилась серебряная пти-

ца надвое, натрое, начетверицу, падал носом вниз фюзеляж, отрывались в полете обломки и неслись быстрее вихря к земле. И, лежа распластанной на адском снегу, видела Ксения, как летят в небесах люди, нет, Ангелы, нет, птицы, конечно, лишь людские у них руки и ноги. Вот синий цыпленочек, отроковица, пальцы ветер хватают: ветер, спаси!.. Вот летчики, расстегнуты кители, перекошены вольным паденьем упрямые лица. И увидела она его, единственного, юрода своего, сына медвежьего, сумасшедшего: раскинув руки, он летел, вверх ногами, вниз головой, в сером, набухшем снегом небе, колесом кувыркаясь, летел вниз, все вниз и вниз, а Ксенья глядела вверх, все вверх и вверх, шепча: Господи, помоги!.. Господи, не покинь!.. И услышала она торжествующий, безумный хохот рыжекосой, и придала ей силы волна любви, снегом поднявшаяся из врат души, и извернулась юродка, и схватила в обе руки голую белую щиколотку злодейки, и дернула на себя, и на нее, на распятую на снегу Ксению, Дяволица всей тяжестью упала.

Лежала на ней. Изругалась площадно. Ксения рванулась, выпросталась из-под Дяволицына тела, ухватила обе ее руки с крашеными длинными ногтями и заломила ей за спину. Рыжекосая билась в злых судорогах. Ксения возила ее лицом по снегу, по грязи.

— Ешь землю! Ешь снег! Ешь! Вот тебе свадебка твоя! Свадебный твой пир!

Катерина, валяясь на земле, тяжело обернула к Блаженной грязное, грозное, расцарапанное, темное от прихлынувшей крови, гнева и ужаса и во злобе красивое лицо.

— Да я за вашего царя нарочно замуж иду! Чтобы, как час придет, во время брачной ночи... его...

Ей не суждено было договорить. Блаженная, крепко держа ее за руки, закинула голову к небу.

И видела она, как птицей летящий человек упал на родимую землю.

И приблизила Ксения заолодавшие губы ко грязной щеке адской невесты поверженной, и внятно, раздельно, чеканя кровавые слоги, как Часослов читала, медленно ей сказала:

— Никого не убьешь. Ни Царя. Ни слугу его верного, Василия-юрода. Нет им смерти. Рай их ждет. Поджидает. И меня не убьешь. Как ни старайся. Твое место на земле занимаю? Ступай в твой Ад проклятый. А я на земле. Она — мой Рай. Я в Раю навсегда, и нет мне пути в твой Ад, назад. И век буду я, Дева-Птица, сидеть в райском саду на ветке яблони с золотыми яблоками, и петь песню. Богу. Зверям. Птицам. Рыбам. Людям. И даже тебе, Дяволица! Песню прощения — тебе! Я-то тебя, презренная тварь, давно простила. Вставай! Ступай! Ненавистью себя украшай! Клевещи! Глумись! А я тебя простила. Нападай! Убивай! А я тебя простила. Хоть весь Ад на меня обрушь! А я тебя простила.

Разжала Ксения руки. Попятилась. Отступила. Руки разбросила, пальцы растопырила. Глядела, как медленно поднимается с земли изгвазданная в ледяной грязи Дяволица, как зеленой, змеиной ненавистью подземно горят ее радужки.

Стояла перед Ксенией Катерина.

Стояла Ксения пред Катериной.

— Я тебя... все равно найду!..

Ксения молчала.

Хрипы из груди Катерины выталкивались сами, как слезы, комки грязи, трупы подстреленных в голод птиц, льдины, по осеннему течению реки плывущие в ледостав.

— Тебе... от меня... не уйти!..

Ксения молчала.

Теперь Катерина пятилась от нее. Шаг, еще шаг, еще шаг.

Ноги идут. Ноги идут. Вспять. Противусолонь. А глаза не уходят. Глаза сверлят, пробивают, простреливают, пригвождают. Глаза-пули. Глаза-гвозди. Глаза-проклятия. — Убью тебя!.. И не придут воткнуть крик мой... во гроб твой... Так и истлеешь в лесу... в полях... и коршуны тело твоё... расклюют... Убью!..

Ксения молчала.

ФРЕСКА ПЯТАЯ. РАЙ НА ЗЕМЛЕ

ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Он падал, а этого никто не видел.

Хлебопашец надавливал всем телом на плуг. Вчера здесь шел бой, и вспаханное поле утоптали солдатские сапоги, выутюжили грандиозные танки, ревушие чудища; разрытую землю усыпали отстрелянные гильзы, осколки снарядной амуниции, брошенные где попало ружья, копья, алебарды, пистолеты и пулеметы. Хлебопашцу важно было привести поле в порядок. Холодная весна, что и говорить. Надо растащить трупы, швырнуть их в кусты, в канавы при дороге; собрать смертоносное, никому уже не нужное железо и тоже свалить его в кучу; а потом, потом запрячь в плуг тощего конягу, и так идти, идти вдоль по земле, и взрывать острым ржавым, гигантским клыком плуга черную мягкую, холодную, пахучую плоть. Черное, вечное тесто. А кто там летит в вышине — да это все равно; может, картонную куклу кто из кабины вертолета сбросил, а может, большая птица летит, журавль, цапля, дрофа: подранок, подбили.

Старуха на крыльце взорванной избы сидела, мотала клубок. Прищурясь, поглядела в небо. Ах, вот оно и зимнее солнышко! Тепло прибывает, и завтра будет еще теплее. Погреются старые косточки. Зачем вы, злые люди, убили мою избу? Ну да Бог с вами. Война ведь идет. Не убережешься. Ах ты Господи, да кто ж это там стремглав по небу-то несется? Не рассмотреть мне без очков! А очки-то разбил кот, вот шкода! Лапой с комода стряхнул, играл так, значит. Стекло вдребезги. И вот шурюсь, шурюсь теперь, да все никак не дощурюсь. Нету у зрячка силенок. Мышей не ловит. Ах, котяра, придурок! Не дам ему нынче рыбы. Господи, да ведь это ж вроде как человек летит! Солдат небес. Помстилось мне все. Не выпалась я. Где тут выпишься: взорвана крыша, и ветер тепло уносит. Жрет ветер тепло мое, как кот рыбешку.

На берегу реки сидели два огольца, рыбалили. Удочки воткнули в холодный песок. Поплавки не дрожали. Один покуривал чинарик. Другой почесывал себе локти сквозь залатанную рубашку. Где тулупчик мой? А холодненько! Вон твой тулупчик, я в него зимнее яблоко завернул! Рыба-то где, дружище? А рыба вся ушла в глубину! Бойтся! Эй, глянь, там кто-то летит! Где? А в небе! Да ну тебя! Розыгрыш! Брось ты шутить! Я не шучу. Только вот куда делся? А солнце-то ослепительное какое! Ну уж меня ты не заставишь на солнце глядеть. Уж лучше на поплавок! Давай, ну, дурак, тяни! Тяни же! Подсекай!

На краю поля поднялся на колени раненый солдат. По лицу полосы крови. Полосы слез. Стоит на коленях, колени в чернозем вдавливаются. В землю уходит. В земле тонет. Плачет. С губ слизывает слезы. Себя ощупывает: жив, да, жив, чудо какое. И буду жить! А может, не буду. Больно на ноги встать. Вот только так и могу стоять, на коленях. Да на землю глядеть. А лучше в небо. Ух ты! В небе-то кто-то летит! Это у меня от ран, от боли в глазах мельтешит. Брежу я. Сейчас землей умоюсь. Ишь ты, летит, видишь, какая бредятина. Не верь сам себе, ты, слышишь. Нету там никого. Птица это летит и крылья раскинула.

На крыльце взорванной избы девочка стояла. Тошая, личико в рыжих веснушках, платишко порвано, землей испачкано. Она от обстрела хоронилась в саду. Голые яблони дрожали всеми ветвями. Девочка сощурилась и закинула к солнцу нежное лицо. Летит! Среди облаков! В лучах! Ей показалось. Да, конечно, ей показалось. Она сложила ладонь трубочкой, чтобы лучше рассмотреть, вела рукой-трубой-подзорной по небесам, по земле, по комьям чернозема, по излучине реки. Голые яблони, сироты, стояли за ней, сторожили ее. Из земли торчал железный хвост снаряда; носом аспид в землю вошел, да не взорвался.

Всяк на земле делал свое дело. Старик волок санки, на санках лежал маленький детский гробик. Молодуха набирала из колодца воды погнутым снарядом, жестяным ведром. Бежали домой огольцы, один торжествующе поднимал выше головы кукан с насаженной на него жалкой плотвицей. Вязала старуха овечий носок. Стучали голые ветки яблонь друг об дружку. Звонил еще живой колокол на далекой мертвой церкви. Пели горячие зимние птицы-синицы, ждали праздничных птиц весенних.

И никто не видел, как падал с неба на землю юрод, не спасли его самодельные крылья, Время, смеясь, его не спасло, не спасла его дальняя, непрерывная молитва Блаженной Ксении, задирали он, падая, ноги выше головы, раскидывал руки, весь Божий Мирь напоследок пытаюсь обнять, и Ад и Рай. И вырывалась сама из его груди, прежде чем он разобьется о землю и превратится в кровавое тесто, детская колядка, так колядовали они с матерью его, Мариной, Царя-Медведя смышленной женой, в сибирских горах, у гордых гольцов, гранитными вершинами звездное полночное небо целующих. Да, так ходили и пели ночью, во Христово Рождество, и так ласково было на душе, так ясно, чисто, морозно, звездно, улыбочиво, празднично так, слезно так, и текли по лицу хорошие слезы, мать шептала: то Божии слезы, слезы радости, поплачь, сынок. И утирала сии слезки ему холодной покрасневшей голой рукой, сдернув теплую голицу, а голица падала и терялась в снегу, и он, малек, ее искал во сугробе, и находил, и протягивал матери, а Марина тоже плакала радостно, носом шмыгала, щеки соленые голицей отирала, и, взявшись за руки, шли они к ближней чернобревенной, мощной избе, и рты их во пение широко разевались, и цветные ленты на корзинах по ветру развевались, и громко пели-голосили они любимую колядку, без страха, без оглядки. Он помнил слова, их петь так чисто, так сладко... не торопись, не спеши, ведь все по порядку...

*<...> Славься, Господи Христос!
На дворе трещит мороз!
Красны щеки, красен нос...
Снег не вижу я от слез...
Люди, люди, путь далек!
Наколядую пирог...
Ты на всех пирог ломи...
Ешь ты, Боже, меж людьми...
А потом с людьми пой...
Наколядуем с Тобой...
Прочь ты, горе!.. прочь, беда...
Коляда... коляда...*

Он пел колядку до тех пор, пока земля не расступилась и не обняла его. Боль была такой сильной, что он не почувствовал боли.
...И никто, никто на всей земле не видел, как он упал. <...>

ПЕСНЯ У КОСТРА

Она вернулась на войну как в дом родной.

Все ей было тут привычно. Все знакомо. Все, вплоть до смертного страха, до руины, до завывания ветра в холодных, бездымных трубах, торчащих над разрушенными крышами протянутыми к небу кривыми жестяными руками.

Ее бойцы узнавали тоже. Кричали ей: Ксения!.. погодь!.. подойди сюда, к нам!.. бинт у тебя есть в сумке, а вата?.. у нас тут солдата крепко ранило, распахало спину аж до кости!.. помоги, пособи!.. обработай рану спиртом, перевяжи... да нам дай, дай спиртику-то глотнуть... святое дело... Она подходила, мешок развевался у нее за спиной. Босые ноги прожигали в снегу торопливые узкие следы. Никто не видал ее крыльев. Крылья тайной оставались для зрячих людей; их видели те, кто ослеп. От взрыва слепли люди, от тяжелой контузии, а иногда танкист горел внутри танка, и перевязывала Блаженная ему обожженные руки, ноги и цыплячью юную шею. А слепые вдруг поближе придвигались к ней и шептали восторженно и еле слышно: видим, видим, голубушка, видим Божии крылышки твои. Береги ты себя!.. ведь ты, матушка, не баба, а Птица... Ангелица...

Она часто пела бойцам у костра. Бои редко велись ночью. Ночью наступал странный, кратковременный, а казалось, вечный передых. Солдаты разжигали костер, и Ксения садилась у огня. Происходящее здесь, у костра, казалась и ей, и всем бойцам чем-то таким нужным, важным, неотъемлемым от всей прошлой и будущей жизни; ночью, у костра, они понимали: человек с человеком воюет всегда, и главное — победить зло, и самое трудное — определить, где оно у врага, то зло, таится. Ведь мы, думала Ксения, для врага — тоже враги! И они, наши враги, сражаются с нами не просто так, натиск наш отражая, а ведь за что-то, для них святое! У нас — святое, и у них — святое. У нас — священная ненависть к врагу, и у них — священная к нам ненависть. В этом и есть великая тайна. Узнаешь эту тайну — все на свете битвы сразу остановишь. Ксения вздыхала: вот бы узнать! Да никто в целом свете не мог бы сказать ей, на кончике какой иглы, в каком яйце, в какой утке, а утка в сундуке, а сундук на сосне, а сосна на одинокой скале, а скала в море-окияне, сокрыта сия тайна. Ни Господь. Ни царь. Ни герой.

А ты, ты, Василий-юрод?.. ты-то можешь?.. ты-то — знаешь...

Откуда-то бойцы добывали старую, разбитую-раздолбанную испанскую гитару-шестиструнку. Ксения, как могла, настраивала ее, подтягивала непрочные колки, склоняла ухо, проверяя чистоту тона, все ей не нравилось, струны издавали нестройные, мрачные звуки, да делать было нечего, бойцам хотелось песен и гитарного рокота во время краткой передышки. Вечный бой! Покой лишь снится. Вот пусть сегодня, сейчас приснится. Ксения тревожно перебирала струны, будто боясь музыкой опоздать куда-то, на важную встречу, на единственное свиданье, и струны отвечали невнятным ропотом, подземным гулом. И выпускала Ксения голос на свободу — чистый, ясный, просторный голос, и холодная зимняя ночь тот голос в объятия принимала, и всеми звездами мелко, быстро целовала, и глядели ночные заледенелые березы, как гуляют Ксеньины руки по живым медным жилам, по кровеносным сосудам бедной музыки, и голос катился красным ярким колесом по заснеженному окоему, по всей изрытой, израненной ойкумене, по замершим лицам бойцов, озаряемым взлизями огромного костра, а в костре сгорали старые доски, ветхие бумаги, среди них и рукописные, да никто никогда больше не прочтет нищих писем, торопливых записок, что люди иных времен друг другу наспех строчили — на прощание, перед смертью, перед празд-

ником иконы Страшного суда. Голос Блаженной проникал внутрь усталой души, утешал в рыдании, гладил по седому виску, благословлял на завтрашний тяжелый бой, и он уже не казался последним, еще оставалась надежда, еще плыл вдаль голос в широкой песне, не просто говоря о любви: он, голос, и был сама любовь.

А ночь шла и проходила, и у кого-то на донышке фляги находился глоток спирта, или глоток довоенного коньяка, или глоток вишневой домашней настойки, или перцовки глоток, а может, горилки с малюсеньким стручком красного жгучего перца, на дне притихшим. А дно ночного солдатского пьянства оказывалось так близко, до жалости, до горести рядом, и вот уже нет ничего, чем душеньку взвеселить, и снова кричали ей: Ксения!.. спой!.. распоследнюю!.. нашу любимую...

А какая же была у родных солдат самая любимая, медсестричка Ксения и не знала; опять надо было догадываться; и догадывалась она, что да, вот эта, старая, военная, еще с той войны, о которой не все знали, но все ее кровью помнили, а если память у крови есть, то, значит, и голос есть, и кричали, шептали, хрипели ей солдаты: Ксения!.. пой!.. звучи!..

И звучала она.

Мой костер догорает в ночи... завтра грянет отчаянный бой...

И глядели солдаты в огонь и закрывали глаза, и каждый видел пред собою любимую свою.

И шептала Ксения в перерыве между куплетами, когда на фальшивой, разбитой напроць, дребезжащей гитаре, с ранами-трещинами в живой теплой деке, звучал простенький слезный проигрыш: милый, родной, любимый мой Василий, я так скучаю по тебе, но это не может быть, чтобы я не увидела тебя, я обязательно увижу тебя, так суждено, ты жив, возлюбленный мой, ты жив и здоров, тебя не убили, ты дышишь, молишься и глядишь вперед.

И пока она это шептала, она верила в это, а когда надо было снова петь, опять не верила.

Ты шепчи о любви мне, шепчи... хоть во сне я побуду с тобой...

Это ты, ты мне поешь, родимый, шептала Ксения, перебирая струны, и краем глаза видела она, как плачет молоденький боец рядом с ней, засовывая руки в огонь — так замерзли они. <...>

СМЕРТЬ БЛАЖЕННОЙ НА ВОЙНЕ

Бой гремел. Пушки палили непрерывно. Снаряды и мины летели. Приземлялись, разрывались, разносили в клочья здания, избы, руины, поднимали ввысь, в сумрак небес, необъятные веера мерзлой земли. И нет конца.

Бой гремел, и в том бою убили Блаженную. Ее убили просто и незаметно. Буднично. Как в любом бою: бой — это работа. Тяжкая, грязная, кровавая. Не всех, кто погиб в бою, упомнишь. Многие без вести пропадают. Так и отправляют родне конверт: без вести боец пропал, не взыщите. Ксения все знала про себя. Она себя не берегла: а зачем, коли судьба известна?

Она хоронилась вместе с другими бойцами в окопе. Враг наступал. Она сорвала с головы и бросила на землю пилотку. Ее густые, сизо-седые косы рассыпались по плечам и спине. Солдат протянул ей каску: надень!.. — она улыбнулась и рукой махнула. Сунула руку за пазуху, вытащила из-под гимнастерки странный бирюзовый крестик и пылко, крепко его поцеловала. И так еще немного посидела на земле, в окопной грязи, прижавшись к нательному старинному кресту губами. И не успел никто ничего по-

нять, как быстро, ловко, в солдатских болотных портках, в сапогах, обляпанных сырою землей, она вылезла из окопа и выпрямилась в полный рост.

В рост! Да! Только так! Не гнуться! Не сгибаться! Не кланяться врагу! Не бояться! Смело! Ну! Вперед!

— В атаку! За мной!

Ее чистый, звонкий голос взвился в мрачное, в рванье бегущих туч, вечеряющее небо.

Она закинула лицо и еще успела подумать: снеговые тучи, еще немного, и снег пойдет, густо повалит, это зимняя гроза надвигается, — как полетел град пуль, да, началась железная гроза, стальной снег падал и все заметал, и тело Ксении, поднявшей бойцов в атаку, изрешетило пулями все, напрочь. А за ней уже страшной орущей волной бежали бойцы, катили диким валом, хлестал людской прибой, гремели выстрелы, и надвигались крики, все кричали хором не пойми что, взбадривали себя хриплыми воплями, высвобождали ярость, вместе с криком излетал из груди последний страх, они все тоже уже ничего не боялись, и они бежали, дико вопя, по грязи, по камням, по дикому полю, по снегам, по насту, по Ксении, что животом вниз валялась, расстрелянная сотней пуль, на поле боя, и уже ничего не видала, не слыхала, и лишь земля одна, к ней она мертвым лицом прижалась, видела ее живую улыбку, недвижимую, навеки застывшую, нежную, радостную. Да, полная чистой радости, лежала она, убитая, на широком поле, и люди бежали в атаку мимо нее и по ней, бежали над ней, по воздуху над ее затылком, седыми волосами и ногами в тяжелых сапогах, велики ей были те сапоги, и в носки она напихала ваты из санитарной сумки, и под пятки подложила вату, — бежали вдаль, по небесам, по грядущему, странному, непонятному Миру бежали. Бежать было надо всегда, не останавливаться, бежать и сражаться, бежать и побеждать. И там, во мрачных вечерних небесах, на миг разошлись под порывом ветра тучи, и не видели стреляющие друг во друга люди, как ярко, слепяще вспыхнула над ними, над политым кровью и усеянным костями полем боя крупная, как райский плод, радужная звезда.

Она испускала самоцветное сияние, дрожала на морозе и била в воющих людей острыми, отчаянными лучами.

И оттуда, с небес, она увидела лежащую на земле ничком бедную мертвую Ксению и заплакала над ней.

РАЙ ГОСПОДЕНЬ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

И настал великий день.

Василию-нагоходцу, сыну Медведя-царя, зимнему юроду, голому бродяге, был подарок Господень: видение Рая на Красной, посреди Москвы, площади.

Кончилась ли война? Никто не знал.

Как воскрес Василий? Никто не знал.

Да и знать не хотел. А он тем паче.

Он видел Рай в лицо. Невероятен был шумящий, шелестящий среди зимы глянцевыми гладкими листьями Рай; светящиеся розовыми и смуглыми телами, странные нагие женщины появлялись из пустоты, из сна — нет, не на площади, на ее утоптанном снегу, а летели в небесах, грациозно, как елочные игрушки, переворачиваясь и тихо, жемчужно смеясь. Василий думал, у них крылья вспыхивают за плечами, а это были всего лишь госпитальные простынки, и валились с их нежных тонких рук во снег обручальные колечки и тут же прорастали в сугробах тонкими, нежными ростками: то ли водоросли, то ли травы, то ли кусты будущие, то ли камыши на берегу снежного озера. Дыни по снегу сами катились, ногами никто не толкал, померанцы красно-ве-

сельные, сливы лазуритовые, их навезли на площадной рынок купцы из Астрахани ханской, из Самарканда колдовского, сгрузили с расшив купецких, да сами они по снежку и попрыгали: лови!.. вон какие крупные, крупнее кролика, крупнее глухаря подстреленного!.. А вот и глухари: охотники их за лапы связанные торговать несли, мертвеньких, а тут, в Раю, они немедля оживали да сами, хвосты роскошные распуская, и взвивались в небеса сапфировые, так зенитом слепящие, глаз от сияния полднейного слезится, жмурится!

Рай... до чего сладкий... до чего медовый, сиропный, маковый, печеною сдобной завитушкой закрученный да из печи Боговой — для человека!.. — вынутый... Для чего ты, Рай, все века люди думали-гадали. А вот ты для чего! Для нас, человеков, Богом и рожден! Чтобы мы наконец в тебя, Рай, отерев от грязи ножонки перед дверью в твою немислимую, необъятную, чистейшую избу, вошли!

И здесь — в Раю — навек — остались...

Тигры! Львы! Это раньше, раньше хищники людей терзали, на куски рвали! А теперь ребяенок, шубейка расстегнута, жарко в Раю, хоть и снег больно блестит, обнимает волка и целует в холку! Ах, волк! Не вонзай зубищи твои в дитяню! А благослови его лесным рыком твоим, положи ему на плечо тяжелую лапу твою! И ребяенок ее возьмет во две ручонки да поцелует. Таковы райские законы! Господи, Господи... и вон она, вон любовь... в тени стены Кремлевской... прямо под красными морковными башнями... под алыми звездами, кровь в них струится, стекает по крепко, ладно уложенным кирпичам на мохнатый синий снег... под чесночинками каменными, зубцами смеющимися... Господи, да как же это пережить, ведь глядим мы на любовь в Раю и не узнаем ее в лицо, ох, нет, вот теперь — узнаем... мы ее в детстве — вот такую — во снах наших горячечных видали...

Глядел нагой Василий, во шкуру медвежью завернувшись, как в сугробе, под Кремлевской стеной, лежат и обнимаются муж и жена. Целуют друг друга, милуют. Гладят по лицу, по плечам, по груди; исцеловывают родную плоть так, как в церкви молящийся благоговейно целует святую икону. На запястьях жены браслеты горят восходящей во снежных полях зимней радугой. Муж главу на грудь жены радостно положил да так и застыл, счастливый; и она положила ладонь ему на затылок и замерла, улыбаясь; и так застыли оба. Переливались во снегу их нагие, чистые как речной жемчуг тела. Две жемчужины! Два сокровища! Застыли в любви, и любовь явилась оборотным ликом смерти, словно бы на незримую сторону Луны Василий тайно поглядел — и подглядел там Божию тайну: ту, что зреть смертному нельзя, а только Богу, — и вот Бог показал ему жемчуг любви, с голой груди струющийся, в ладонь скользящий, наземь, на снег валяющийся, — двигающийся, ласкающий, дышащий, неизвестно кем на нитку жизни нанизанный.

Кто нас всех на нить страдания нанизал?! Вот же она, предвечная радость! Рай!

Тут муж жену целовал сотни лет напролет. Тут счастливые дети водили по всей площади хороводы; вбок повел Василий плачущими от великой радости глазами, и увидел — рядом с собою, напротив родимой Спасской башни — мохнатую зверицу, Рождественскую елку! Рождество Твое, Христе Божие! Неужто вернулось?! А вот ты где, Рождество наше возлюбленное, в Раю! А и где же тебе-то и быть! Дети шли оголтелым, пляшущим хороводом вокруг густо, щедро, по-царски наряженной елки. Да и была ель — площадная царица. Ко свадьбе ее нарядили! Ко свадьбе Господней! Не счесть игрушек, забавок! Вот стремительная меч-рыба плывет, колючие волчьи ветви острой молнией разрезая. Вот боярышня в кике деревянная, нарисованные глазки косят лукаво, старик-крестьянин ее ножом из полена выгачивал, старуха, женка его морщинистая, красавице платья шила из лоскутков атласных, бусами рябиновыми, ожерельями

из вишневых косточек шею деревянную украшала! Вот снежинка, осыпанная алмазными блестками, глядит озорно, светится улыбкой, губки суриком намазюканные, щечки румянами натертые, — не снежинка, а настоящий Серафим, а крылья-то где? А крылья вот! Птицы, птицы; множество их, клеили их и нитками суровыми сшивали, а они взяли да превратились в настоящих: перья топорщатся, клювы наострены, хвосты по ветру распущены — летят! Взмывают с изумрудных, мрачных ветвей вечной ели прямо туда, в мощную безбрежную синь! Что синее, волшебней неба? Только ель, колючая, зверья, хвойный малахит, ангельская ель Рождества!

А и что же там, сзади, за елью... за еловой тенью... за краснокирпичною, острозубой стеной... не разглядеть... ох, Господи, нет... нет...

Огонь! Пожар!

А люди, люди-то почему с площади не уходят!

Почему они продолжают тут танцевать, ноги до небес вздергивая, почему по снегу шары каспийских арбузов, самарских помидоров и кавказских гранатов катают... почему зажигают пучки свечей темного воску, белого парафина и высоко воздымают, хохоча от радости? Что они там свечами освещают, ведь так много здесь Солнца, в Раю, здесь любую еловую иголочку, любую малюсенькую сливу, из торбы на снег упавшую, можно рассмотреть!.. Все пляшут со свечами в руках, все взახлеб поют великие Райские песни! Господи, да что ж это такое! За их спинами пожар, огонь идет стеной, а они, они-то, сумасшедшие, все пляшут и пляшут!

Василий хотел крикнуть им: бегите!.. бегите с площади, ведь на вас прямиком идет огонь!.. — и не мог: рот его как воском залепило. Он изумленно оглядывал пляшущую толпу, Кремль, стену, обнявшихся в снегу пылких возлюбленных, летящих девушек и юношей, на глазах становящихся Ангелами, кубово-синее небо без дна, а Спасская башня превращалась в бочонок с медом и катилась ему под ноги, и проливался из дырки в бочонке на снег желтый мед и густел на морозе, и вставали на колени дети и собаки и в снегу льющийся ручьем мед лизали, на пальцы наматывали, снежком заедали, сладко утирались! Праздник! Рай пресветлый! Медовый Рай! Медовый псалом пой!

А огонь вставал за спинами пляшущих все выше и выше, столбами поднимался, в зенит уходя, выл, гудел, надвигался, но странный был тот огонь, он не жег, а ласкал, не уничтожал, а — жизнью дышал!

И Василия прошибла и чуть не повергла наземь, во снег, догадка: райский огонь!

Великий райский пожар Москвы! Подождли Москву последние святые!

Где, где они, чуть не кричал он, метался по снежной площади, пылающей веселым перламутром вьюги, да где же они?!.. — кричал он елке, закинув лик к ее достославной верхушке, а там, на еловой верхотуре, торчала еще так недавно могучая золотая, ярче солнца, еловая шишка, величиною с дыню, а теперь, людие, глядите-ка, — звезда горит! Красная! Пятилучевая! То ли пять лучей, а то ли все сто двадцать пять! Никому не счесть никогда! Из сердца звезды выходят лучи; эй, звезда, ты ж всезнайка, скажи мне, скажи, матушка небесная, сестра Богородицына, где те святые?.. Идут ли, поют ли, а может, где прячутся-хоронятся от сглаза, может, нищими неприметными, попрошайками в отрепьях у Спасских, у Боровицких ворот стоят?! Руку тянут?.. Дай, подай...

Василий метнулся в разверстые, дышащие пустой чернотой, обитые медью мощные двери собора Покрова Богородицы. Вбежал — и обомлел! Павлины слепили сапфиром и златыми глазами в узорочье хвостов, слетали со стен. Фрески пылали радостью. А иконостас — горел! Да, горел он синим, красным, желтым, алмазным огнем, огонь бежал по плитам собора, выбегал на вольную волю широкой площади, столбами восставал над головами людей! И не обжигало пламя! Василий благословил дрожащею рукой горящий иконостас. Еле различал лики святых. А они — шагали — вперед!

Шагали — с иконостаса — вниз! К людям!

Ибо сами люди, люди были они.

Из глубины пророческого чина, чина праотцев, восставала мощнейшим, упоительным солнечным столбом — и слетала к людям, паря над нимбами святых, немислимой величины Птица: громадная Птица, размером с Луну, а быть может, с Землю, а верней, с целое, рождающее свет солнце; всмотрелся Василий в косящий радостный глаз ее, в раскрытый в заливистом пенье золоченый клюв, в размах небесных крыльев, верх ясно-алый, испод мрачно-синий, а шея, шея вся — лазурь чистейшая, цвет небосвода, цвет юной любви, цвет весенней реки в пору разлива! А лапы-когти растопыренные серебрянкой сияют; и летит она прямо на Василия, на единственного, в толпе молящихся в тулупах и зипунах, голого старика, со шкурой медвежачьей на мосластых плечах, и возговорит человеческим голосом та Птица: ах, Василий-царь, Василий-юрод, Василий-нагоходец Московский, Василий-пророк, вот притекли к тебе все русския души живыя, и я прилетела, роскошная Птица, рыдальная Голубица, рожальная Синица, а попросту я знаешь кто?.. как звать меня?.. догадайся!.. сам ты ждал меня весь Ад!.. по Аду страдальному шел ко мне!.. Весь насквозь ради меня прошел!.. и ты не узнаешь меня!.. да ты меня — всему народу предсказал!.. и что, Василий!.. давай, поименуй священным именем меня!.. назови!.. всем назови!.. пред всеми имя мое — выкрикни!.. и запомнят люди!.. на веки вечные запомнят!..

И задрал главу лохматую, длинновласую Василий выше, еще выше, в зенит купола уж глядел, зверьи сощурясь, в тот синий воздух, где под куполом парил наиглавнейший святой, наисвятейший Царь Небес и планеты грозной, слезной, Христос Пантократор. А богомаза того, что лик могучего Спаса на выгибе купола малевал, на висельце вздернули: никогда боле такого не намалюешь!.. А зодчему тому, Барме-великому-пьянице, что храм возведет — мешок с монетами заполучит да по кабакам со товарищи шататься по всей Москве красной да белокаменной будет, — очи кинжалом выкололи: а не построишь боле, слепец, такого-то славного собора! Лишь один он, собор Покрова Богородицы, у Бога на вьюжной ладони!

И разинул Василий-нагоходец рот шире варежки, и набрал в грудь синего пьяного, свечным нагаром пахнувшего воздуха, и вытянул руки вперед, как слепой, и стал зреть все, все, и даже то, чего смертному зреть нельзя, а лишь бессмертному разрешено, и завопил, будто на помощь звал, радостно, могуче, криком времена пронзая, и гулко отдался крик его в апсидах и нишах собора, в подкупольной выси, дрожащей и звездной:

— Феникс-Рай имя тебе! А иначе Жар-Птица!

Расхоталась птица Феникс, еще шире раскинула крылья, алые сверху, синие снизу, торжественно надула зоб, раздула небесные перья, и развернулся пред Василием и пред всем народом, кто лбы себе крестил, кто на коленях стоял и благодарно плакал, — всемирный, всеводный, всеземельный птицы Феникса хвост, гуще всех сапфировых павлиньих хвостов, искристей многозвездного неба. И глядели на людей из развернутого на пол-Мира хвоста золотые и густо-синие глаза, и дрожали зеленые перья лесов и садов, а может, изумрудные иглы площадной ели; птица Феникс обращалась в бессмертную ель, сплошь, от маковки до золотых кавалерийских шпор на когтистых лапах, украшали ее старинные игрушки: сами их люди делали, сами ночами мастерили влюбленные в елку народы, сами, своими руками клеили и скрепляли, красили и вышивали. А на голове у птицы Феникса сама собою выросла из взлохмаченных перьев, явилась корона, маленькая, веселая, сверкающая, а может, то была не царская корона, а крохотная живая птичка колибри, ведь она век живет в Раю, не грех и во снежной Москве пожить, почирикать в метели, поплясать крестами-лапками на резучем снегу!

А святые сходили с иконостаса. Спускались. Приближались. Господи, какие же они были родные! Всех узнавал потрясенный Василий. И спасителей его и матери Марины — парня-цыгана, в красной рубашончке, с золотой серьгой в ухе, и священника в черной старой застиранной рясе, что вырвали мальчонку и бабу из смерти когтищ. И белобородого старца повара, что на кухне царской его вкусности стряпать учил. И мальчишку того, что в избе, где шел военный совет, безотрывно, будто молился, глядел на него. И танкистов его верных, а вот рядышком шли они, огнекрылые его солдаты, ступали тяжело по отвоеванной земле в чугунных грязных сапогах, а глаза горели у них ясные, смелые, чистые, лучами горние сферы пронзая. И ту старуху, что сматывала шерсть в клубок на пороге разрушенного дома, пока он падал из подбитого зениткой самолета.

Всех видел. Всех любил. Всех неслышным шепотом называл поименно.

Ну и что, имен не знал! Разве в именах дело! Все были Жар-Птицы, ибо возродились из пепла. Все были — Рай, ибо Рай и состоит из таких вот святых, кто не именует себя святым. Тише воды, ниже травы, ярче огня. Святей вас нет никого для меня!

Святые шли, шли и шли. Надвигались.

И впереди шла мать Марина, мать его, святая.

И держала она за руку прекрасного охотника: борода густая; волосы по плечам текут; сапоги до колен болотные; ягдташ на длинном, исцарапанном ремне висит через плечо; ворот холщовой рубахи расстегнут на морозе, от тела пышет древний подземный жар. Жар берлоги. Жар вареной медовухи. Объятий с бабой полнощный жар. Звездный жар — на морозе, в синем мраке, под выстрелами, в разорванном ветром сугробном одеяле.

А на плечи охотника накинута шкура мрачная, ночи темнее, шкура мохнатая, шкура — лес-тайга, и шумит на ветру; шкура медвежья. И чем ближе охотник тот подходит, тем явственней на лбу его различает Василий царский обруч с золотыми зубцами; и тем плотнее шкура ему ко плечам, к спине прилипает, и вот уж она в кожу охотника, в рубаху его врастает, и всего его, с ног до головы, облипает, обнимает, и вот он уже в шкуре той — не человек, а Медведь!

— Медведюшка!.. отченька...

Повалился Василий на колени. Глядел на Медведя. Медведь лапой бережно сильную руку Марины на весу держал. Вел, будто в танце; будто к венцу.

А дверь, дверь в собор настежь открыта: ветер, заходи не хочу, гуляй тут, бешенствуй, цари напропалую! Надвигались на Василия святые, и все были святые в Раю, и все были цари — и люди, и звери, и птицы, и жуки, и пауки, и рыбы, и змеи, и кони, и коровы! Да, цари были все, и где сейчас пребывал родной Василию и всему народу русскому нынешний царь, не ведал он; каждый в Раю был царем, и каждому дана была великая, радостная вселенская власть!

И понял тут Василий: война каждого, каждого сделала царем.

Царем своей жизни. Царем своей судьбы. Царем неистового времени своего, оно же не проклято тобою, а милостиво принято душой, прижато к телу твоему, к сердцу, жадно бьющемуся. Царем родных и близких твоих, без тебя они пропадут, тобой они спасутся, и, сознавая это, ты еще сильнее, еще мощнее царствуешь, забота о них, лелея их и пестуя их.

Царем войска твоего верного, армии твоей, подначальных твоих бесстрашных, ибо бесстрашие слуг царя — залог смелости царя; храбрость подчиненных царя — геройство и победа земли, коей правит он. Армия есть царь, и царь есть армия. Неразрывны они. Не расплести. Не разрубить.

Святые, сиречь цари, шли на Василия войском солнечным, золотым, надвигались, обнимали его, окружали, входили, вбегали в собор люди с площади, запрудили входы и выходы, наводнили гулкую расписную пустоту собора, его ниши и притворы, толкались у амвона, тянули к святым, сходящим с иконостаса, руки и губы — обнять! целовать!.. А Василий шел навстречу им, и вот он вошел в их цветную, многолюдную, колышущуюся руками, ликами и одежками, живую глубину, и глубина та вобрала, всосала его, нимбы над затылками плыли, как золотые лодки, золотые листья небесных кувшинок, он расставил руки, раскинул, обнять идущих хотел, вон того, нет, вот эту, да всех хочу сгрести в один живой ком, прижаться, родной жар ощутить. И вдруг будто кто подхватил его под ноги, под колени, стал возносить, все выше и выше, он ногами перебирал, ему казалось, он шел, по воздуху ступал, да, он шел воистину, поднимался по воздушным ступеням, он — восходил!

Он восходил на фреску в соборе Покрова Богородицы, что на Красной площади, возлетал, клеивался в гушину и золотые искры цветущего, бьющегося на зимнем ветру самоцветного Рая.

Оглянулся. Глазам не верил.

— Ксения!..

Его Блаженная, улыбаясь во весь рот, шла рядом с ним.

Живая. Вот все тот же мешок на плечах, с дырой для башки и двумя дырами для рук. Все те же ножонки голые-босые, руки в цыпках от мороза. Космы все те же. Прежде золотые, нынче черно-серебряные пряди густо, скорбно перевиты ветром, ночные, сновиденные.

Он протянул к ней руку.

И в этот же миг она, смеясь белозубо, тоже руку протянула ему. <...>

И обнял Василий Ксению за плечи, и так шли они, крепко обнявшись, как муж и жена, и это им пели-верещали счастливые певчие на травном, цветочном клиросе: Исая, ликуй!.. — и шепотом спрашивал Василий у возлюбленной Блаженной:

— Куда мы идем, Блаженная моя?.. В огонь ли?.. На небеса ли?..

— На небеса!.. А на небесах Благодатное пламя еще сильнее горит!..

Невесомо ступали они по огню, скользили над пламенем, и тут Василий спросил Ксению:

— Ксения моя, а где наша Дьяволица?.. Не помешает ли нам она подняться в небесные чертоги Рая?..

— Погляди, — сказала Ксения и указала рукой вниз, — вон она!

Василий глянул вниз и увидал.

Они с Ксенией шли по огню, попирая Дьяволицу ногами.

А рыжекосая лежала, объятая огнем, и беззвучно кричала. Серьги ее расплавились в огне и стекли по щекам свинцовыми ручьями.

Там, под ногами у них, лежали черными бревнами в костре и горели, горели и сгорали руины Ада и развалины войны. И знали юрод и Блаженная: Ад и война сгорали навек. Рай не станет их воскрешать. А у них самих уже нет сил в себя вдыхать новые силы вершить неистовое зло. Зло, и у тебя есть край! Дойдем до обрыва. Заглянем в пропасть.

А пропасти, верю, нет. Пропасть волна райского моря захлестнула! Райский остров из воды поднялся! И скалы усыпали цветы, и на голых камнях расцвел райский сад. Ешь апельсин! Срывай лимон с ветки, вдыхай его, золотой! Сквозь метель! Сквозь близкую смерть! Мы идем в Рай, и огонь выстилает нам дорогу радости нашей.

— Мы с тобой, Василий, земля.

- Да, Ксения, мы земля. Обниму тебя крепче. Держись. Мы земля, и небо наше.
- Мы воздымаемся из Ада в Рай. Ты так мечтал?
- Я всю жизнь молился об этом.
- А где же наш Царь? Неужели он не придет приветствовать нас, счастливых?
- Он не увидит нас. Он слеп.
- Что кричит там, внизу, в огне, Дяволица у нас под ногами?
- Слушай... не слышу я...

Они притихли, шли, обнявшись, молча по огненным струям и тут услышали сдавленные, дальние крики Катерины:

- Свадьба!.. Свадьба!.. Царя мне!.. Жениха моего мне!.. Немедля!.. Сейчас!..

Ксения обернула лик к Василию. Благодать текла муром и золотом из глаз ее.

— Царя кличет. Умереть, видать, с ним рядом хочет. Хотела быть владычицей, царицей. А умирает как простая крестьянка, казнямая на костре за старую веру.

Василий повел глазами вбок. Наткнулись его глаза на Царя. Он стоял совсем близко. Руку протяни — и коснись.

Он стоял слепой. Жалкий. Не зрел уже ничего. Поводил в воздухе руками. Искал друга, поддержку, жалость чужую, живое чужое тепло. Не было никого рядом. Огонь полыхал под ногами. Дяволица корчилась там, внизу, в безумии пламени. Василий шагнул к Царю и встал перед ним на колени. На коленях стоять! Человек способен на такое чудо. Стать на колени — сказать о любви. Стать на колени — превратиться в молитву.

— Это я... слышишь... самое лучшее блюдо мое я тебе, Царь, сейчас приготовлю... самое вкусное... самое счастливое... Ешь да похваливай... Хочешь ешь, хочешь пачкайся... Это ты приказал Катерине... выстрелить в мой самолет?..

Царь медленно поднял слабые, дрожащие, незрячие руки и положил их на плечи коленопреклоненного Василия. Веки прикрыл. Под веками глаза его косили, искали сущий Мирь, что видеть не могли. Плыли из полузакрытых очей мелкие золотые слезы, блесны времени. Плыл алый плащ, истрепанный пурпур, на сутулые, дрожащие плечи, на горбатую спину. Бледнел и гас бледный лик. Седые, тонкие, жалкие волосы липли к щекам. Морщины шептали туманными, иноземными письменами о самом близком и родном.

— Да. Я.

— Зачем ты захотел убить меня?

— Затем... что лучше слуги не было у меня никогда... и ты, ты был верен мне, как никто... и ты был лучше, чище, выше меня... и я возжелал, чтобы больше не было такого, как ты, никогда и нигде... ни у меня, ни у другого... Чтобы ты был — единственный... Единственным и остался... Чтобы больше никто, никто в целом свете... не мог сотворить такой чудесный собор любви, борьбы... преданности... чести... гордости...

— Я понял. Так же, как Барме ты приказал глаза выколоть подо лбом!.. чтобы больше никто... никогда...

— Да! — Царь, положив руки на плечи Василию, дрожал и плакал, качаясь травой на небесном ветру. — Чтобы никто! Никогда! Чтобы только я... тобой владел... и чтобы ты и в смерти... мне принадлежал... А ты... ты меня предал... ты... ты — не умер!..

— Да. Не могу я погибнуть по чужому велению. И даже по сатанинскому. Только по Божию!

Царь прислушался. Задрожал в близком плаче подбородок его.

Глубоко он морозный, огненный воздух вдохнул.

— А это кто, кто рядом с тобой?.. я чувю... я слышу...

- Она.
- Ксения?..
- Да!
- А на Красной моей площади, Василий, что ныне?..
- А на Красной площади твоей Рай!
- А выведи меня на площадь мою Красную! И, хоть не вижу ее въявь, услышу ее, вдохну ее, возьму в ладонь снег ее... и так погляжу на нее!..
- Изволь, государь!

Подошла Ксения и под локоток его подхватила. Подхватил Василий под другой локоток. И так, по красной дороге огня, вышли они из-под купола мощной синей и золотой Вселенной на Красную площадь, в самую сердцевину богатого, знатного, счастьем упоенного, самозабвенного Рая!

А там плясали все, все, кто мог плясать.

Плясала бешено и задорно мать Василия, лекарка Марина, держа за мохнатую лапу Медведя; выбрасывала ноги туда и сюда, вопила на радостях, платок ее в снег с плеч свалился, а тот любовно облапил ее, гнул, тянул, потом лапами на снег уронил, катал и валял! И подбежала веселая Ксения, защелкала пальцами, забила по снегу голыми пятками! Взяла Медведя за золотое кольцо в носу. Он встал на все четыре лапы, ревел истошно. Ксения стала выплясывать, приглашая гортанными криками сплясать с ней. Медведь встал на задние могучие лапы, переваливался с боку на бок, взреывал, а музыка звучала, и пела Ксения припевки зимние, колядки Рождества, а Медведюшка прыгать уже стал бешено да высоко, башкою мохнатой до неба хотел достать, внизу, под сугробами, мужики пешнями разбивали лед на Москве-реке, а на площади девка красная, да уж седая вся, плясала с Медведем, и кувыркался зверь черным мохнатым колесом, а Ксении баба из толпы бросила, хохоча, рубль-империал, а она на зуб деньгу попробовала — да Медведю под танцующие толстые лапы как швырнет!

Медведь тот солнечный, слепящий империал лапой по снегу катал. А Ксения смеялась-смеялась!

И все смеялись вокруг нее! На морозе! Белозубо! Солнцами лиц друг дружку ослепляя!

Да, слепли, слепли все от счастья великого — быть, жить в Раю!

Наконец-то! Свершилось!

— А как то случилось-то, люди?!.

— Да вот сам в толк не возьму!

— Детки, за руки возьмитесь!.. Вон она, елочка-то, кличет-зовет!..

— К ней, к ней!.. Хороводом — вокруг!..

— Елка-то, о Господи, высоченная, в небо дыра, што тебе Спасская башня...

И тут откуда ни возьмись выкатились под ноги Ксении, пляшущей с Медведем на снегу, медвежатки!

Три медвежонка, ах, колобки чернявые, клубки живые, шерстка ночная, головушка шальная, пяточка смешная, вертятся-крутятся, вверх тормашками встают, на задних лапах прыгают, на передних ходят, задними в воздухе помахивают! Три медвежонка, три таежных ребенка! А какой из них ты, Василий?! А тебя Маринка-корзинка у груди приберегла, кусок лучший давала у стола! Песни колыбельные тебе ночью пела, пророчьи сны на веретено куделью вертела! Медведики росли, с ними и ты на краю земли! И вот вырос ты, Василий, и погиб, и воскрес! И шумит про то далекий твой, мощный твой медвежий лес!

Блаженная наклонялась, трепала медвежаток за круглые бархатные уши. Медведики царапали-лапали ее колени под мешком, силились вскарабкаться по ее ногам,

за мешковину цепляясь коготками, к ее груди. Одного она, хохоча, подхватила, обняла, к груди прижала, в макушку поцеловала. В Раю так и надо! Жизнь в Раю такова! Живое — обласкай! К живому — снизойди! Живое — согрей на груди!

Пляска могучая на площади Красной продолжалась, и Кремль разгорался, пылал красным огнем на алмазном снегу, и елка сама, увешанная с колючей маковки до пяток-корневищ созвездьями игрушек, пританцовывала, желая сорваться с места, вот уже танцевала, изукрашенными лапами махала, звенела гирляндами, мигала свечками восковыми, плакала пахучей, хмельною смолой! И вот уже с места снялась, выдернула деревянную ногу из крестовины и пошла, пошла плясать напропалую, по всей площади кругами ходить, сполохом сияния полярного вспыхивать, слепя влюбленные, счастливые, бессчетные людские зрачки! Слепнуть от счастья — каково это?! А вот же, вот, сам испытай! Стать от счастья слепым — значит видеть все! До конца! До дна! До снежинки малой на рукаве! До капли пота на предсмертной губе! До золотого волоска на лбу младенца рожденного!

Звери и люди плясали, обнявшись. Птицы с чистого синего неба слетали к людям, садились им на плечи, укутанные в дохи и дубленки, на затылки в лисьих шапках и льняных шалях, расшитых розанами и маками, на запястья, на руки в варежках и негнущихся голицах, и пели, пели оглушительно, чирикали, хрустальной водою журчали, трелями разливались, звенели и цвенькали, рассыпались хрустально! Птичий хор — до небес поднимался! Небеса наводнял!

— Рай, Рай...

— Экая в Раю-то радость!

— Неизбывная... радуйся, пока Рай...

— Да ведь он, Рай-то, дурачок, теперь навсегда...

— Все!.. Аду конец! А кто Ад насквозь пробежал — молодец!..

Хоры птиц. Рев зверей! И венки, венки цветов живых посреди зимы! Венки девчонки надевают на башки, в снег ушанки да вязаные шаленки швыряя! Елка-мать, громадная, смоляная, лапы топыря, танцует упоенно, круги по площади очерчивает, звездой алой на верхушке людям кивает: я, мол, с вами, плясуны мои, с вами навеки! А вокруг Ели-матери то ли с неба соскочили, то ли из-под стен Кремля попрыгали маленькие елочки: тьма тем елочек, и живые, и припрыгивают на корнях, одноногие, смешные, колючки ежисто выставив, и не тронь их, а все обкручены-обверчены уж — и кто украсить колючих ребятишек успел?! — серпантинном спиральным, дождем серебряным, текучим, блестящим, пушистыми хлопьями снега, россыпями слепящего мелкого льда! Лдины раскололись, в осколки елки нарядили! А вон голубь на ветках сидит, живой! Жизнью таежную плясунью украшает! А вон синички-сестрички рассыпались по хвое; желтогрудые сердолики, синекрылые лазуриты! А вон лисенок в ствол еловый всеми коготками вцепился, всеми четырьмя лапчонками ель обхватил: с ней вместе танцует! А ну-ка, лис да в Раю! <...>

Медведь катился по снегу колесом, Ксения приплясывала, и так двигались вперед.

И вот он, сугроб. И вот Он, Человек.

...И вот Он, Бог.

Зверь и Блаженная остановились. Ксения держала Медведя за лапу, тяжело дыша, глядела на Господа.

Не тратила она много слов.

— Обнимитесь!

Сошел Господь с ледяного сугроба, раскинул руки и Медведя крепко обнял.

И облапил Медведь Господа. И так стояли, в объятии замерев.

Ксения глядела на объятие Бога и зверя.

А поодаль возникла из снежного тумана Дяволица. Переступала босиком по снегу.

Ксения увидела ее первой, среди всей слепой от счастья толпы. Невозможен был приход чертовки, на их глазах в лютом пламени до пепла сгоревшей, но вот же, шла она среди рождественской всеприродной пляски, шла, ни на кого, ни на что не глядя, глядя тусклыми рясными очами внутрь себя. Вскинула она глаза, возгорелись они болотным призрачным огнем. Она тоже увидела Ксению. А ноги ее, босые ныне, без красных щегольских сапожек драгоценных, сами шли. Сами ее несли туда, куда ходить ей было от века заказано.

Господь глядел вдаль радостно, поверх пляски Всемирной, поверх башен кремлевских, а вот царь Медведь оглянулся вослед за Ксенией и тоже рыжекосую узрел.

Ближе. Все ближе. Вот совсем близко, на расстояние протянутой руки, подошла она.

Атласные, бархатные тряпки не мотались на ней. Ксения всмотрелась, поняла с ужасом: на Дяволице, живой вешалке, висело ее, Ксеньино, вечное скитальное платье. Ее родной холщовый мешок из-под картошки, из-под мерзлой переспелой репы!

— Боже!.. за что...

Поглядела исподлбья Дяволица на Ксению. Развела руками: мол, как тебе она я? Ты это? Или я? А может, теперь мы вместе? Мы — одно?

— Ксенья... мы... сестры...

Ксения ясно, ярко глядела ей в глаза.

— Да ведь, может, и сестры. Я-то тебя простила. Давно простила. А вот ты? Зачем оборотилась мною? Машкерад на праздник зимний? Нет тебе во веки веков победы, так ты меня, одну меня желаешь в прах повергнуть?..

— Сестра!.. Сестра!..

По лицу Ксении ручьями текли горячие слезы, щеки прожигали.

— Отвечу тебе: сестра, а ты меня обнимешь, да сзади, под ребра мне, нож военный всадишь...

— Сестра!.. Верь мне!..

Махнула Ксения рукой весело. Медведь заревел.

Господь улыбнулся светло.

— Верю. Обнимай! Убивай!

Дяволица обхватила Ксению обеими руками. Мешок притиснулся к мешку. Зеркало вошло амальгамой в зеркало. Солнце в небе горело ярко, безумно, вокруг желтого светила плясали еще два, красное и лазурное, Луна пылала вьюжно, призрачно, синева густела, звезды сыпались отчаянным просом, и не удержалась от последнего коварства рыжекосая, выхватила из холщового тайного карманишка солдатский нож и, даже не размахиваясь, хакнув коротко, всю злобу, накопленную за долгие века, выдохнув, всадила лезвие под беззащитное Ксеньино ребро.

Кровь не успела политься. Господь вышел из объятий Медведя. Длань подъял. Затянулась рана мгновенно. Выпал на снег нож из руки Катерины. Зашаталась рыжекосая. Воздух праздника крючьями-пальцами хватала. Не удержалась на ногах. Пovalaлась на колени. На коленях к Медведю поползла. Господь рядом стоял, да рыжекосая ползла — к зверю.

Доползла. Лоб во снег уткнула. Красные косы ее плечи ей, спину плащом укрыли.

— Зверик мой!.. Как часто я в лесах, во тайгах, во степях всем, всем земным зверям помогала!.. Выжить!.. Пастись!.. Загрызть!.. На телах поверженных, после битвы кровавой, пировать!.. Это все я, я!.. Зверь мой лесной, божество гор и лесов и ледяных рек, прости меня!.. Я у тебя прошу прощенья, чтобы не умереть!.. Я никогда так близко к Богу не стояла. Я — от Бога — шарахалась!.. Не нужен Он мне был!.. Я и без Него с Мiром, с человечешкой жалким, бесчестным справлялась!.. И все победы мне были

по плечу!.. А тут... Тут я сплеховала. Всеми вашими силами вы, звери-птицы-люди, призвали сюда Рай!.. И я насмелилась. Я себе изменила! Я, владычица Ада, в Рай ваш явилась! Да вот беда, жить хочу! Жить! Зверь, помни заслуги мои пред тобой! Молю, оставь мне жизнь! За меня Господа о милости попроси!

Лисята, волчата, медвежата, котята, собачата, утята, цыплята плясали вокруг них. От них в танцующую толпу доносился терпкий запах еловой хвои. Господь молчал. Медведь сел у Его ног. Все стояли босые на колком снегу: Господь, Ксения, Дяволицца, Медведь, а поодаль — молчащий, ждущий Василий-нагоходец.

— Звери!.. Люди!.. Неужто не узнали меня!.. Не признали средь ночи и среди дня!.. Ведь это я, я, там, в небесах!.. всю жизнь — над вами всеми!.. На ночных часах!.. Красная я, страшная Луна!.. Хожу-брожу в ночи одна!.. Тыщу раз глядели на меня!.. Проклинали лик мой красного огня!.. А я все румянилась!.. А я все вас убивала!.. И все мне было крови мало, мало!.. А вы-то и не знали: в вашей смертушке — ваше красное начало...

Дяволицца, на коленях стоя, закинула к небу пылающее вечным румянцем лицо.

— Ксенья!.. Пред тобой — на коленях!.. Не убить мне тебя! Прости! Прости за все! Да пусть я лучше престану быть Дяволицею! Пусть спадет с меня моя Адская кожа! Пусть сгорит нутро мое краснорунное в солнечном пламени, в зимней печи Рая!

Господь улыбался. Медведь прижался холкой к Его ногам под синим, красным атласным, перламутром льющимся хитомом.

— Да будет так!

И лишь они вчетвером, Господь, царь-Медведь, Ксения и Василий, они одни на всей многолюдной, вихрящейся в бурнопламенной пляске площади, видели, как стала с рыжекосой Катерины кожа лоскутьями, слоями сползать, как мотались на вьюжном ветру кровавые ошметки кожи, полоски, будто кто незримый свежеввал ее, так охотник свежует тушу убитого зверя в тайге, сваливалась на притоптанный всеобщей пляской снег шкура Ада, и выпрастывалось наружу из отжившей, окровавленной кожи новое существо, да кто же это там такой, ой, такая, да это же тощая девчонка, да это же... Господи, прости!.. узнал Василий, узнал и задрожал... та косноязычная, иноземная девчонка в веснушках, в рубище, с тонкими смешными косками, что говорила с ним, все про Ад на Москве разъясняя, на разрушенной площади Красной, прекрасной, среди развалин и руин...

— Дитя мое!..

Крик Василия с другого берега площадного моря достиг ушей Господа, Медведя, Ксении и худенькой девчонки. Веснушки льяными семенами разбрелись по ее остренькому лисьему личику. Василий пробирался сквозь танцующую толпу, закидывал бородатый, мохнатый лик к небу, и борода его становилась крылом, на нем же он перелетал горе-беду и последнюю еловую радость.

Отроковица оглянулась. На снегу кроваво, страшно валялась отжившая Дяволицца шкура.

— Ой!..

Девчонка зажмурилась, уткнулась в колени Господа. Утирала красною полкой его красного-синего шелка дрожащее мокрое лицо.

— Не смотри туда, — прошептал Господь.

Ксения заливалась слезами, да слез не отирала. <...>

Гремела музыка, а где музыканты на площади сидели, не видно было. Только слышны пронзительные медные трубы, вопли скрипок, густые признанья в любви ласковых виолончелей. А еще били медные тарелки. Бом-м-м-м! Звон-н-н-н!

— Хоронят, что ли, кого?..

Блаженная обернулась. Искала похороны глазами.

Веснушчатая белокожая девчонка показала пальцем вдаль.

— Да! Похороны это! А вы-то, глупые, разве не знаете ничего? — Она с трудом, как и раньше, говорила по-русски. — Хоронят нашего Царя! Царь-то у нас — другой будет!

Все ближе подползал бедный, нищий, с разбитым грязным кузовом, военный грузовик. За грузовиком шествовал погребальный оркестр, музыканты грустно головы опускали, как зимние цветы с переломленными стеблями; время от времени подносили ко ртам железные трубы и камышовые дудки свои, дули в них старательно и строго, выдували последнюю жизни надежду. Головами мотали, как быки, ведомые на заклание; жаркие потертые ушанки, казацьи папахи и старомодные меховые пирожки с затылков в грязь летели. Медь трубная пронзала и возжигала лиловый мороз. В кузове стоял изукрашенный кружевами, шелками и цветами гроб. Во гробе лежал Царь. Слепые его глаза были широко открыты. Слепыми глазами он пристально, внимательно глядел в небо. Он, мертвый, хотел проглядеть насквозь его беспредельность. И то правда, где жизни предел? А любви? А ненависти? Нет им границы. А если им границы нет, то и смерти предела нет. Она у всех. Она для всех. Не откристишься.

Ксения взяла отроковицу за перепачканную Катериной кровью руку.

— Как тебе новая твоя жизнь, милая?..

Низко наклонилась к голой головушке, вдохнула хлебный запах русских волосенок, ветер взвил девчонкины тощие коски и одною, с красной ленточкой, вплетенной во вьюжные, улетающие с плеч волосишки, хлестнул Ксению по щеке.

— Хорошая новая жизнь, — со вздохом, с трудом ответила девчонка и улыбнуться попыталась. Ветер стер улыбку, она улетела с лица воробьем. — Да только погляди-ка ты, что сейчас-то будет!

Девочка вырвала руку из руки Ксении и вихрем полетела к грузовику.

Как она запрыгнула в кузов, никто и не понял. Быстро. Как обезьянка, прирученная, сахарком к ласке людской прирученная, влезла! Все люди на площади, снизу, могли видеть, как неведомая тощая, с белыми метельными косками, девчонка наклонилась над телом Царя, ручонками вмиг раскидала погребальные венки, выкинула на снег могильные бумажные цветы и бутоны живые, просунула руки под мышки мертвому, и подняла его в гробу, и затрясла так, что голова его закачалась, как у фарфорового китайского бонзы, подбородок о грудную кость звенел-стучал.

Да не видали то люди. Танцевали!

— Проснись... Не время нынче умирать!

Ксения, расширив небесные глаза, глядела, как вскинул Царь мертвую голову, как мертвый слепой, ледяной взгляд его становился живым, зрячим, отчаянным, как слезы из воскресших глаз прозрачными письменами, сверху вниз, текли по пергаментному лику.

— Царь! — вопила девчонка во весь тощий, пронзительный голосок. — Оживай! Ведь у тебя нынче свадьба!

Он повел слабою головой вбок. Улыбнуться пытался.

Шофер замерзлою рукой открыл кабину, скособочился, извернулся, увидел ожившего Царя и грянулся в обморок, мешком повалился из кабины на снег.

— Свадьба?.. — Он прислушивался к пеплом по ветру летящему своему голосу, как к чужому. — С кем?..

— Со мной!

Ксения все слышала. Закусила губу.

Она меня перехитрила?.. Или она навсегда, навеки превратилась в чистую душу? Где правда? Где ложь? А может, правда и ложь и вправду сестры? Чему верить? Кому? Ад!

Рай! А может, братья и они! А мы всю-то жизнь лишь и делаем, что во имя Рая с Адом воюем! А может, Ад-то нам всем надо полюбить!.. Полюбить!.. И простить!.. Простить...

Господь стоял спокойно, недвижно. Медведь открыл пасть, вывалил малиновый яркий язык. Навстречу ему черными ватрушками катились его родные медвежатки, а за ними вышагивала по алмазному снежку Медведица, на ходу неуклюже, нежно-заботливо облизывала катящиеся к отцу-Медведю черные шары. Василий положил руку Блаженной на плечо. Бороду его взвил ветер и обмотал ею, как черной петлей, Ксению шею и грудь.

— Не бойся. Только жди. Время приучило тебя ждать. Поверь. Отпусти зверя на волю. Отпусти на волю ненависть, Ад. Только гляди. Запоминай. Память у тебя никто не отберет. Даже если ты сейчас, скоро умрешь и боле не воскреснешь никогда, родится другая Ксения, через века. И вспомнит она все, что было с тобою. А девчонку благослови. Мысленно. А хочешь, и перекрести.

Юродка руку подняла и веснушчатую девчонку широко перекрестила.

И просияла девчонка. Не скорчилась; не скукожилась; не обуглилась, не иссохла. А будто из нее лучи зачали в широкий зимний Миръ выходить. Маленькими подвижными ручонками отстегнула она железную защелку откидного борта, вытащила Царя из гроба, подтащила к дощатому краю, сама на землю прыгнула первой, а Царя смешно сволокла за ноги, как куклу, и мотались у него кукольно руки, и стонал он, крихтел, пытаясь еще неслучным телом помочь той, что его воскресила. И вот на снежочке, морковно-хрустом, оба. И вот девчонка кладет руку его себе на плечо, подлезает ему под мышку, идет-бредет, на себе государя, малявка, тащит!

— Господь мой! Ты глядишь на сию картину. Неужто Ты сам, Ты один сему помог?

Улыбка Ксении солнечную вьюгу озаряла.

— Я сам. Я помог сему. Воскресил же я Лазаря. Дочь Иаира воскресил. И Царя вся Руси воскресил. Для радости воскресил. Для силы. Для — счастья!

— Счастья...

Блаженная превратилась в Господне эхо.

Относил ветер далеко от стоящих Васильеву бороду, как черный флаг посреди белого алмазного дворца, и вокруг них плясали люди, шли хороводом, день за днем, год за годом, свершали годовой круг и круг вековой, и пекли пирог, и подносили им кусок, и брал пирог с ладони жертвенной Господь и вкушал, улыбаясь, и ела Ксения, смеясь, и подбрела к ним живая елка и обнимала их, босых на снегу, колючими вечными ветвями.

А дети, вокруг них ошалело танцуя, пронзительно, разрывая уши и душу, кричали:

— Свадьба!.. Свадьба!..

И верно, немислимая, на весь Миръ, свадьба начиналась. Солнце брызгало обжигающим золотым маслом, рядом с небосвода падала тьма, обнимая площадь Красную, прекрасную, и вот предвечный мрак там и сям возгорался: из тумана рыбками-уклейками плыли на людей пляшущие вспышки, серебряные, медные, кроваво-турмалиновые, призрачно-перламутровые, и вот наливались огни живой кровью, являлись в них яркость, ярость и страх, укрупнялись они, росли и вырастали, и вот уже площадные снега заливало слепяще-оранжевой, похоронно-багровой, крестильно-алой небесного света рекой! Красные огни! А среди них — синие блики! Полощитесь, по нежно-снежной площади, красные флаги! Рытый бархат, в нищенских конурах наспех кривою иглой прошитый святой атлас! Сумасшествует красный цвет. Ярится красный свет. Танцует красный снег! Пляшут красные снежинки в красном вихре! Воскресший из мертвых и веснушчатая тощая отроковица стояли средь площади, обнявшись.

И покатались на серебряную сковороду площади толстые круглые медвежата, а глядь, это уже скоморохи! Облепили скоморохи цветными жужжащими пчелами жениха и невесту. Звенели на синих, алых колпаках безумные бубенцы! Мелькали живые колеса, валялись скоморохи в снегу и снова вскакивали, ноги-руки крутились, спины-груды вращались, треухи-колпаки-капюшоны втаптывались в сугробы, а один скоморох на площадь выкатился в колесе — да в том, в коем на Лобном месте колесуют: а вот уперся внутри страшного колеса руками-ногами — и катился, катился по снегу, как бельчонок в дитячем забавном колесе! Туз бубновый на тулупе нарисован! Туз треф — на потном лбу! Намотали на палки липовое лыко, размахивали ими, мочало поджигали, скалясь, перебрасывались горящими факелами! Народ, народ! Веселящийся, пьяно-румяный! Щеки-яблоки, рты-ягоды! Тетки свеклой скулы, подмигивая, натирают. Девицы, в зеркалишки глядясь, — соком морковным. Вон боярыня павой плывет по снегам, а на кике у ней павлинье перо зеленое торчит, синий веер, золотое пронзительное око! А вон боярышня юная на свадьбу спешит, да как бы чего тут важного не пропустить, ножонками перебирает, мечтает вина за счастье испить, а на плече у нее петух сидит, в развышитое сукно кафтанчика когтями вцепился; крылья святы, лапы золотые!

Народ мой, народ! Эх, веселиться ты умеешь! Не отнимет никто веселия твоего у тебя! Сквозь весь Ад кромешный взвеселимся, людие! Долго же мы ждали, когда родимся вновь!

Дудки-жалейки, свирели заозерные, сопелки святочные, скрипочки сельские, самодельные, рога охотничьи, горны военные — все гудело, свистело, брямкало, свиристело, рассыпалось хрустальным звоном, недуром орало, медно и дико, зверем чащобным, вопрем болотным! А потом разливалось переборами арф — да, с арфами шествовали на свадьбу детки, подобные Ангелам, да в заштатных одежонках, да в штопаных-перештопаных нищенских лохмотьях. А музыка, музыка-то смело, счастливо рвалась из-под тонюсеньких пальчиков их ребячьих, разливалась по Красной площади соком, вином, сиропом, брагой, медом забродившим, пьяным!

А пяточки босые сверкали, поцелованные солнцем! А сафьянные сапоги мяли, приминали снег, и снег стонал и плакал под пятой, и снег визжал хрюшкой, поросенком резаным, и снег отсвечивал, всласть утопанный, гладко, зеркально, и изнутри того снежного, лдяного зеркала глядело лицо Блаженной Ксении, развеселое, смеющееся, очами обнимающее весь родной Миръ, всю родимую площадь. Торжествуй, жизнь да любовь!

Мечись, полоумная пляска людская! Только так мы празднуем миръ и победу. И ликует, веселится весь народ! Скоморохи нанизывали на себя метель, как на веретено. Прыгали в безумии смеха, и башки их, в бархат островерхих шапок да в солдатские пилотки облаченные, в прыжке касались сияющих, быстро летящих в выси облаков.

Медвежата кувыркались, и скоморохи кувыркались! На руках плясали. Ногами в воздухе болтали. Не только темечком созвездий достигнуть, а и пяточками раскаленными нашими! Снежочком пятки клеймены! На пытке — в угли всунуты! Да кончилось пытальное времячко! Настало великое, скоморошье!

По небу босыми стопами пробежим. А небо-то — головни звезд горят, обожжемся! А мы-то сами не промах: сами возьмем да как звезды, возгоримся! Каждый ведь из нас, людей родных, звезда! Сам себе звезда да и Миру звезда. Летим, летим! Есть-пить хотим! А колядки-то, где колядки?! А зачни голосить, колядуй без оглядки!

Блаженная взяла Василия за руку. Рука об руку стояли они. Ель рядом с ними. Господь рядом. В кузов погребального грузовика запрыгнул скоморох, за ним оркестрант

из шествия кладбищенской меди; хватали еловые венки, бросали в толпу. Скоморох тряс головой, колокольцы на шапке брэнчали залиvisto, он вопил разудало:

— Свадьба! Свадьба! Счастье в рожу узнать бы! Над Красной площадью зимняя заря! Танцы! Танцы! Красные протуберанцы! Кто зимою на свадьбе не пляшет — тот, берегися, носом снег алмазный вспашет! А кто на свадьбе до одышки танцует — тот рядком с Исаюшкой-пророком в небесах ликует!

Царь и отроковица стояли среди народа и тоже за руки, как юрод с юродкой, крепко взялись. Замерли. Улыбки слепо, солнечно бродили по их лицам, переливались, исчезали, вспыхивали опять. Улыбки они друг другу передавали, факелами друг другу бросали. Ксения улыбалась. Улыбкой той говорила: я рада, рада, вот и родилась настоящая жизнь твоя, вот и перешли мы Ад вброд, аки посуху. Царь улыбался Василию. Вот ты, мой повар любимый, генерал мой геройский, вот и ты ведь жив; нет нам с тобою Времени, что ли? Василий улыбался тощей девчонке, приблудной отроковице, нареченной невесте. Ты, девонька милая, забудь, кем ты до твоего рождения была! Ныне великое Рождество твое. Шкура Ада с тебя свалилась, тонкая кожа Рая румяной любовью укрыла. За царя крепче держись! Богу жарче молись! Да, родная, вот такая пошла наша жись!

Ад-то твой несусветный в Рай земной обратился!

Веснушчатая, тощая, суше воблы астраханской, девчонка улыбалась Господу во весь рот. Ах, Господь, вот и я Твой ломоть! Вот и я у Тебя в руках — ешь меня, не объемлет страх! Я хлеб Твой нынче и Твое вино; Причастие Твое — люди Твои, так Тебе суждено! Ты нам Себя подарил, а народ Твой собою лик Твой озарил! И глядишь Ты на нас народа лицом, пред началом нашим и пред нашим концом! Да только пока Ты с нами, наш Свет, нет конца-краю нам, нет и нет!

А Господь, босой на снегу, улыбался всем им, румяным, счастливым, босым.

Девчонка думала-молчала, улыбалась, а скоморох, высоко подпрыгнув, застыл: услышал ее мысли, как музыку. Завопил:

— Дзынь, дзынь, горюшко, а ну отзынь!.. Свадебка велика, не отвори лика! Свадьбища велика, на полноги, на полкулака! Свадьбушка-лебедица, в военном сне при снится!.. Свадьба в полземли — Тьма кромешна, отвали! А приди к нам Тьма живая, тебя обцелую-обласкаю! Звездáми посыпь на нас, юродов, венчай на царство средь родимого народа! Ах, народ родимый, да ты ведь непобедимый!.. Поборол ты лихо, да пировать не научен тихо! Ну, давай, голубями налетай, крохи все расклуй, криком важным кричи и на дню, и в угольной ночи: ты давай, взойди, наша заря!

Из-за угла красногранитного, изукрашенного золочеными буквицами дома, схожего с суровым ящиком почтовым для перевозки особо важных грузов, выбрел на ликующую площадь человек. Человек, да не человек. Чучело, да не оно. Рыцарь в латах? Ряженный? Колядовать собрался?.. аль метелицы испугался...

— Люди, люди!.. Кто это!

— Что на башке-то у бедняги!.. рассмотри...

— Котел рыбацкий...

— Железный колпак!

Шел, шел по площади, по зеркалу льда, по тропинкам, да прямо по сугробам, во снегу увязая, длинный, худой, кожа да кости, мослы кедровыми шишками из плеч, из локтей торчат, странный старик: на голове шапка железная, на щиколотках кандалы, тело тоще обкручено веригами, на груди огромный, как плот, медный крест позеленелый.

На пальцах длинных, ветвях древесных из плоти и крови, тяжеленные кольца железные. Да в лоб морщинистый все глубже, больней край шапки железной врезается.

Ах, детки Рождества, пляшите на свадьбе сильнее, кричите громче! Василий Нагой услышит!

— Иван Железный Колпак!.. Иван Железный Колпак!..

Василий глазами вошел в глаза старика.

Метель, белая борода! Не вернешься никогда. Детство мое, медведи мои! Дед мой, храм ты мой древний на Крови...

И старик узнал его.

Они оба узнали друг друга.

— Дед!..

— Внучек мой!..

Вышагивая ногами-костылями широко и шатко, сияя хрустально и мутно слепнувшими, в морозных бельмах, очами, Иоанн Железный Колпак приблизился к Василию Нагому, да так и врос в заметенную белизною землю, пристыл к вечному льду, к вечной родной мерзлоте.

— Дедушка!..

— Вот оно как довелось, внуче, на свадьбе свидетелься... Аду смерть! Вплыл миръ желанный в горячие реки рук! И я во твои рученьки, внуче, вплыву... наяву... Василько... скучал по тебе сильно... и на сем свете, и на том... тебя издаля осеняя крестом...

Обнялись. Таково крепко, аж дух занялся!

А скоморохи плясали, безумьем прославляя мудрость, босыми пятками восславляя небо, косыми глазенками зырякая туда-сюда, вниз, вбок, вверх: глазами безмолвно накладывали крест на деда и внука, нагоходцев великих, на оголенное алое тело башни Спасской, дышащей лаской, на зеркало площади, царевнино, потайное, на стога, копны и зароды красных флагов! Красные флаги, то был красный ветер, красный воздух, алый Дух Святой! Красная брусника, алая малина, рыжая морошка катились, раскатывались по снегу. Озорная невеста, тоненькая веселая отроковица, собирала на снегу ягоды, смеялась, в горсти подносила жениху! И Царь окунал лик свой в россыпь ягод, брал их губами у девчонки с руки, будто хлеб с ладони осторожно ухватывал седой конь, и жевал, и жмурился сладко, и ягодная кровь с усов, с бороды его снежной капала-лилась, а вокруг!.. — скоморохи катались-валялись по серебру снега, оглушительно звенели бубенцы на их синих, травных, закатных колпаках, ударяли они друг друга смешливыми, железными кулаками, шли пляска на пляску, стенка на стенку! Сражались! Да понарошку, играя. В войнушку-лягушку молодцам что ж со своими, с родными, не поиграть, не позабавиться! Выскочил из толпы скоморохов один скоморошек очумелый; мордой был ну чисто мышкующий лис, на такого уж не молись! Остромордо, хитренько к Василию повернулся. Забормотал торопливо, зачистил скомороговоркой, словеса шелухою рассыпал по насту:

— Мы скоморохи-язычники, из Сибири докатились, ко Москвишечке красной прибились, к морозцу привычненьки!.. Мы скоморошенки, да святые, не бесовские, притекли наводнить приделы московские!.. Видишь, видишь, Васенька, старика того исхудалого, захудалого?! Звездю в ночи торчит — над дорогами-путями, вокзалами, причалами! Старик тот — дорога твоя, Василий-юрод, по ней бежит весь народ, а ты слушай, дед, ровно кот, ворчит: иди, внук, по звездám, иди в ночи... Да ночь со днем смешались! Обхватились да расцеловались! Свадьба... сретение внука и деда... А коли мать узреть захочешь — беги, беги, беги по медвежьему следу!..

Покатился скоморох колесом вокруг Василия и Иоанна-старика, да вмиг медведюшкой оборотился. Черные лапы, мохнатая грива. Прыгал, скакал, на деда и внука визирал. Медведица с медвежатками подкатилась. Играла с ними. Они взрывали снег

носами, на задних лапах тяжело, смешно, ухочешься, плясали. Бабы в расшитых розами, гвоздиками и геранью поневах, в платках с метельными длинными кистями, несли в руках замерзлых сурских стерлядей, в длинных плетеных лодках корзин — орубленных на куски великанских каспийских осетров. На площади разводили костры. Огонь выметывался в небо красною, золотою икрой. Пламя вскоре обняло всю площадь, заползло под Кремлевскую стену, красными жгучими флагами оцепило собор Покрова.

Василий нежно глядел на Ксению.

— Родная!.. А свадьба-то — скажи, у кого?..

— У царя, родной!

— Ух ты!.. А я думал — у нас.

— Да ведь и у нас тоже, родненький!

— А может, и не только у нас?..

— Да у всех.

Медведи прыгали и кувыркались, скоморохи трясли башками, издавая колокольцами соловьиные звоны. Выводили на снег за рога коров и быков смелые отроки-пастухи, и играл в метели пастуший рожок, за собой звал, обещал райские мандарины и золотые горы, сладкое, как дикий мед, вино ковшами — да вон там, из утлого бочонка, что на дремучих салазках стоит, да до грядущего не достоин, все вино выпьем, утремся да еще запросим!.. И раскатывались по площади красные мандарины, и летели в сугробы алые апельсины, и вставали вместо серебряных сугробов многоценные, золотые, так полнилась чистым золотом отошала казна, — и вздрагивал всем голым, под рваной больничной военной простышкой, телом Иоанн Железный Колпак, Василия дед, и направлялся к жениху порфиородному да к найденной в сору нишей невесте, и вынимал кулаки из-за спины, а в кулаках — ну, так уж тому и быть, назначено все в небесах давно!.. — два венца золотых; и зашел Иван Железный Колпак за спины брачующихся, и поднял венцы над головами жениха и отроковицы; и так медленно, чинно-важно пошли они по слепящему, ножами режущему и зрак, и стопы снегу; шли медленно, под музыку сходящей с ума площади, под гундосое пение юрода Ивана, деда Васильева:

— Венчается раб Божий Иоанн рабе Божией Катерине!.. Венчается раба Божия Катерина рабу Божию Иоанну!.. Святые мученицы, иже добре страдавшие и венчались, молитесь ко Господу спастись душам нашим!.. Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвало и мучеников веселие, иже проповедь Троица Единосущная...

Сибирь праздником моталась на ветру, тряпичей, из яркой поярковой шерстишки связанной! Москва обнимала ее, вкусно, жарко в губы лобзала и во щеки брусничные, жимолостевые! Изумруд первостатейный, мощь самоцветная с ног сшибает, лучи в нем скрещаются и ввысь ударяют, тебя насквозь пронзая, как селедку радужную, разрезая, — врут, что из египетских копей, а на деле из Саян мгlistых, из-под камней-скал тайги пречистой!

— Мать!.. Мать!.. Где моя Марина-мать!..

Оборачивался на Ксению — и ребенком глядел, жалобно, широкими глазами.

— Тихо... тихо... подожди... жди... все тут будут, в Раю...

Мощь! Мощь! Сила! Против силы — только Адова коса людей косила. Да и та с нашей силой не совладала. На дудках народец гудел, в свистульки расписные свиристел! А все в честь чего?! А в честь нашей победы! Шли мы, шли по зверя следу — и до его логова, помоляся, дошли! А вылез он на свет Божий — сам стал пощады просить, жалостливо выть. Оборвалась воя страшного нить! Оборотился волк Иоанном нагим! Обернулась Медведица Мариной-матерью! Ужаса, боли разошелся дым. Растеклась

кровушка по пировальной скатерти. А все закричали: вино! А все запросили: и нам налей, налей!.. А в крови вымочили мешковину-рядно... и красным знаменем над толпой воздели — пурпуром Спасителя...

А вон, гляди, Мокошь, Зимцерла и Сварог в хороводе идут, наши псалмы поют! А вон, зри, Дажьбог снял сапоги, пляшет босиком! Рай, ты вечен!.. ах, Боженька, сколько ж осталось минут... сколько мгновений в той вечности... никто ведь из живущих с ней не знаком...

Среди танцующих медведей появилась Медведица-красавица, страстная плясавица. Хлопнула лапой о лапу. Шкура сползла на снег. Шла к Василию-нагоходцу нагая красивая баба. Очи раскосы. Лоб широк. Улыбка широка. Земля вся бежит одною тропой кожаной охотничьей тесьмы — у нее от виска до седого виска.

— Мама...

— Сынок... снишься?..

Руки тянет. Василий хочет их схватить, да тяжелы его руки вмиг стали, налились железом, рудой, силой камня, силой металла, силой до времени и до пространства.

— Нет, мать. Не снюсь. В Раю никто никому не снится. В Раю все встречаются. Это великое Сретение. Все — со всеми. Гляди, мама!.. Твой Рай. Ты об нем мне сказки говорила, когда я усыпал в самодельной колыбельке моей, в корыте, на матрасе, душистым сеном набитом.

— Обними меня, сын!

— Не могу. Тяжестью я налился. Будто печь я доменная, мать, и во мне, во потрохах моих, льется огнем расплавленный дикий металл.

Мать Марина наклонилась. На снегу лежала громадная толстая книжища. Книга Жизни детства Васильева таежного, незабвенного. Близ Книги горели две огромные витые свечи. Одна воску темного, ночного, другая воску яркого, золотого. Марина откинула телячий переплет. Раскрыла на первой, главной странице. Сидел на странице той царь в короне, с лентием, косо через грудь бегущим, в сапогах сафьянных, с загнутыми носами, в усах и бороде мохнатой, пальцы перстнями драгоценными унизаны, в пальцах десницы стило вдохновенное сжимает. А пред ним свиток развернутый, пергамен тончайший, и вот сей миг царь напечатлеет на пергамене том единственные в Мире слова.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седищи губителей не седе; но в законе Господни воля его, и в законе его поучится день и ночь. И будет яко древо насажденое при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет; и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако; но яко прах, егоже возметае ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешници в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет.

Голос Марины, охотницы и лекарки, забытой матери юрода, пронизал пространство и забился крупной рыбой в сети времени. Иоанн Железный Колпак стоял, сжимая в обеих руках золотые венцы, и плакал: не мог глядеть на свою забытую дочь. Забыли и вот вспомнили! Утеряли и вот обрели! Нет конца кругу времен. На площади времени пляшем мы, людие. Рай наступил. Не видно конца могучей пляске.

И ель разнаряженная, щедро изукрашенная, в бусах рубиновых, цатах сапфировых и панагиях пресветлых, сверкающих, плясала с людьми! И медведи танцевали с людьми! И Царь Давыд, со страницы Книги Жизни, пожелтелой, ломкой, нежной, наискось воском заляпанной, пел с людьми! И весь крещеный, а даже и весь дикий, чащобный, некрещеный Мирь плясал и шел многоглавым змеем-хороводом с людьми, звучал многострунной арфой, пел многогласым хором! Хор людской пел о мўке,

чтобы не забывали страдания люди, и тут же пел о радости, чтобы возрадоваться горячей, чтобы восхититься светлее, пьянее! Восторг! Люди за время Ада забыли это чувство. В Раю вернулось оно к ним.

— Я, Василий, слушай... я зверица, я Медведица... гляжу на звезды, они втекают мне в зрачки, и я вою от счастья... Я всегда была одна, Василий, но здесь, в Раю, я чувю себя не одиноко бредущей, но за собою ведущей! Да, я, я веду людей за собою! К радости веду. Вот же она, радость наша!

— Ты радость моя.

— Гляди, зарево над Кремлем! Кремль горит. Да то, мы знаем, Благодатное пламя; таково оно в Раю. Теперь огонь нас никогда не сожжет! Не погубит!

— Не мечтай. Не восклицай зря. И сожжет. И погубит. Просто это наступит тогда, когда мы покинем наш Рай.

— А мы разве покинем?!

— Нас могут изгнать из Рая. Не правда ли, Господи? Не истина ли, Царю Давыде?..

Молчал Господь. Улыбался. Молчал Царь Давыд, псалмопевец, на снег вышел из толстой размахренной, тяжелой, тяжелой чугуна, Книги Судеб. Молчал Иван Железный Колпак, звеня веригами, бряцая кандалами, он был занят делом серьезным: он нес над Царем и отроковицей золотые венцы. Молчала мать Марина, по-медвежьки, подобрав под себя ноги, села в одной знахарской рубахе на снег. Дрожала. Хлад переходил в жар. Жар обращался в перловичный перламутр. Река из слез людских обратилась в реку смеха людского. Радость била цветными фонтанами из всех щелей и на морозе сразу застывала ледяными радугами. Радость! Радуга! Рай! Солнечны имена. Прожигают жизнь до дна. А что на дне? А рюмку опрокинь, узнаешь. И то правда, свадьба, свадебка! Пейте за здоровье молодых, люди! Поднимай, народ, бокалы и кубки, потиры и братины, стопки и штофы, граненые стаканы! Лей, лей, не жалей! А налей чего хочешь, всемогущий Господь! Сотвори новое чудо! Налей настоек крыжовенной! Наливки малиновой! Полугара пшеничного! Чачи виноградной! Вина яблочного! Браги белопенной! Медовухи терпкой! Водки хлебной! Всего налей, что под руку подвернется! Разливай!

— За здоровье Царя и Царицы, вновь на Москве обретенных!

— За укрепление царства нашего государства, оно же Рай пресветлый!

— За то, чтобы Ад сей боле никогда, никогда... эх...

— А таперича Москва наша никакой боле не Армагеддон лукавый!.. Вернулась ее слава!.. Она нашенская Москвишечка-Москва, в любви-вере век жива, красная, звезд превыше, глава, в алмазном инее дерева!.. Красотуля!.. не возьмут ту красу ни копыя, ни пули!..

— Господь помоги, аминь!..

— За благополучное зачатие молодой женки Царя нашего! За разрешение ее от бремени, на радость нам!

— За счастье молодых... Горько! Горько!

Вся Красная площадь заорала: горько!.. горько!.. — и поднял ввысь Иван Железный Колпак, смеясь беззубо, торжествуя, золотые святые венцы, и наклонился Царь смущенно к радостно улыбающейся отроковице, и подставила она губы для поцелуя свадебного, и увидел он слепыми глазами — а он теперь все ими видел!.. — все до веснушечки, до зернышка, что солнце посеяло на обветренной коже юного лица; и прежде губ, едва касаясь щек юной девы губами, он исцеловал ее рыжие, солнечные, смешные, просяные веснушки.

— Весна моя...

— Государь мой!

Она не видела его седин. Для нее он был муж, он один.

И смеялись от радости Василий и Ксения, держа в руках толстого стекла граненые стаканы, в таких бойкие кричалки-торговки на рынке продавали облепиху и смородину; поднимали стаканы, из таковских деды в войну, между боями, в землянках драгоценный спирт глотали, за здоровье четы, крепко стучая стаканом о стакан и с наслаждением выпивая темную, кровавую наливку, что великим прошлым плескалась в них, и кричал народ, на морозе горькое ли, сладкое зелье за родных в глотку вливая:

— Царствовать вам да сто лет!..

И тут Катерина, разрисована картина, девчонка смешная, упрямая, с косками выюжными по угластым плечам, крепко мужа венчанного, за голую, без голицы, горячую руку держа, закинула лицо румяное к Василию да Ксении и молвила так:

— Наклонитесь ниже! Не хочу, чтобы народ слышал!.. Что скажу!.. тайну открою...

Наклонился Василий, будто матрешку со снежка, ребятенком потерянную, заботливо хотел подобрать, а Ксения встала во снег на колени.

— Что?.. слово изрони важное... ждем...

Присела девчонка на корточки. Глядела прямо в лица вечным возлюбленным.

— Ад не кончится никогда. Никогда.

Залился лик Блаженной бледностью смертной. Взбежала краска гнева и боли на скулы Василия.

— Никогда?..

Выдох из огненной груди Ксении полнился невылитыми слезами.

— Никогда.

Василий протянул руки пред собою и сжал в бессильные кулаки.

— Никогда?!.

— Никогда.

— А как же Рай?..

— И Рай не кончится никогда.

Ксения стояла на коленях в снегу и плакала.

— И в этом есть вся твоя тайна?.. на время или навсегда?..

Разжал Василий кулаки и медленно, будто умирая, положил тяжелые, железные руки на тощие, утлые плечики площадной девчонки и наблюдал птичьи веснушки, россыпью хлебных крошек, семян, снежинок, крыльев воробьиных летящие по ее зимнему, задрогшему лицу, и борода юрода бешено вилась по райскому ветру, и тоже плакал он, плакал, как и любимая его плакала, горько-полынно, на коленях на Лобном месте снежном, в мешковинном рубище, великая вечная Блаженная.

И подняла девчонка к Василию-нагоходцу лик чистый и детский и выдохнула в него всем зимним ветром, льдистым, пылающим, безумным:

— Навсегда.

Поплыл над Красной площадью колокольный густой, медовый звон.

— Василий... что это...

Ксения вытянула руку. Глядела вверх. Все вверх и вверх. С небес, из легких выюжных туч, вынырнул фюзеляж маленького юркого самолета. Он несся к пляшущему народу серебряной стремительной птицей. Люди закричали, протягивая к стальной птице руки:

— Самолет!.. Самолет!..

— Подхвати меня в полет!..

Дети подпрыгивали, пытаясь руками до самолета достать. Медвежата, лисята, волчата, барсучата кувыркались, валяли друг дружку в снегу неловкими, ленивыми лапами. Ксения задрожала.

— Рай... я не хочу отсюда вон!..

— Нас никто не изгонит отсюда, родная. Мы навек Рая жители.

— Не верю! Боюсь! Самолета того...

Она крепко, дрожа, прижалась к нему. Нагоходец обнял ее, притиснул к висящей у него на голых плечах обмерзлой медвежьей шкуре; шерсть торчала обжигающе-ледяными черными сосульками.

— Не бойся. Ты же сама говорила, что ты...

— Да! Я Дева-Птица! Ангелица, и крылья мои широки! Летаю высоко, далеко, вам никому не поймать! Не изгнать меня! Не... подстрелить... Куда ты?!

Василий уже шел, твердо по снегу, насту и льду ступая, туда, откуда возврата, Ксения знала это, в Рай не было уже никогда.

Русоволосый мальчик, стриженный под горшок, выступил вперед из площадной пурги, подошел к молодым, поклонился земно да и взял бесстрашно юную Царицу за руку, а другою рукой Царя за руку схватил. Так стояли: отрок, отроковица и старый счастливый Царь.

Мальчик обернул веселое лицо к девочке-Царице.

— Я генерала Василия за руку по Аду вел.

Царица-юница вздохнула и улыбнулась мальчишке в ответ.

— А мужа моего поведешь по Раю!

Серебряный крест самолета плашмя падал, снижался, вот уже летел низко, можно было рассмотреть его хвост и закрылки, и красные звезды на раскинутых крыльях его, дети вопили восторженно, самолет слетел еще ниже, выпустил шасси, пролетел над Замоскворецким мостом и приземлился на его сгибе, где мост втекал в веселую, яркую зимнюю землю Москвы. Подпрыгивал на кочках. Процарапывал колесами шасси снег. Касался концом крыла сугробов. Остановился. Замер.

Ждал.

— Куда ты!..

Ему не надо было ей отвечать.

Она и так слышала мысли его, как слышат далекую музыку.

Чтобы нас не изгнали из Рая вдвоем, лучше пусть изгонят меня. Меня одного. Полечу я один. Эта серебряная птица за мной. Рай не вечен. Счастье не вечно. Все мое время. Не плачь. Живи. Любишься на новое царство. На новые, неведомые времена. А я иду. Мне так Царь приказал. Помню его наказ. Самолет, мол, серебряный прилетит, в него без промедления садись. Унесет тебя, генерал, не в земные, в иные небеса. Ты видишь, самолет — это крест! Серебряный Крест! Жаль, не твой родненький, не крестик бирюзовый. Меня на нем распнут. Всех когда-нибудь распинают, моя Ксения. Не горюй! Разве можно горевать в Раю! Рай для всех. Рай неизбывен. Рай обнимай, целуй. А я улечу. Так надо. Таков приказ. Судьбы, жизни самой. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!

Она подняла руку. Полезла за пазуху. Вынула бирюзовый крестильный крестик. Прижала к губам. Следила, как поднимается Василий по трапу в черную дыру отверстией двери. Как исчезает во тьме, и наползает на тьму серебро, задраивая люк. Самолет завел двигатели, закрутились со зверьим ревом железные винты. Разбежался. Въехал на мост. И с моста, мгновенно набрав скорость, взмыл в синь и ветер почти вертикально, ширококрылым крестом.

Да, распятие, Василий мой. Распятие! Не ждала! Здесь, в Раю! Во время свадьбы! Ликованья всенародного! Счастья Вселенского! Неисповедимы пути Господни. Лети. Тебе — разбиться. Но храни тебя Господь. Тебе умереть, и быть может, не воскреснуть. Все равно храни Господь. Тебе помнить меня до последнего вдоха! Спаси и сохрани, Господи, любимого моего.

Самолет летел над крышами Москвы, набирая скорость и высоту. Ксения глядела на полет железной птицы. Глядела на Солнце. На звезды. На Красную Луну. Медведики прикатились к ней и крепко прижались к ее красным на морозе голым ногам. Мешок ее рвал ветер. Люди и звери плясали. Птицы пели. Светлый Рай продолжался.

А тот, один, кого изгнали из Рая, глядел на него сверху, из-под облаков, и за то, чтобы Рай на земле пребыл вечно, молился.

БОЛЬШОЕ ЗЛАТОЕ КЛЕЙМО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЕТЯЩЕГО В НЕБЕСАХ ВАСИЛИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЯДКА

— Эй! Василия убили!

Долго или коротко падал он с неба на землю? И что есть небо, а что есть земля? Они могут поменяться местами. Боль кромсала потроха. Выдергивала из-под ребер сердце. Кровавые жилы сплетались в клубок, вились в косицу. Перекрестья мышц застывали железом. Смерть сперва расплавила его плоть, а потом заморозила его дух. Он не успел оглянуться, как уже падал, и ни в какой Книге никаких Жизней не было начертано про эту его, последнюю судьбу.

Все повторяется, подумал он, все повторяется в подлунном Мíре, и даже крики людские: крики ужаса, крики помощи. Серебряная птица принесла его снова в море огней и взрывов. Земля, раненная снарядом, разворачивалась черным веером. Он давно читал самому себе молитву, сам же и сочинил: настанет день, и я стану землей, и за это благодарю Тебя, Господи. А какой сегодня век, год, день и час? Разве это важно тому, кто вот-вот умрет?

А может, мне сейчас суждено родиться?

Рождество. Рождество Твое, Христе Божие.

Умереть в бою. Умереть в детстве, в лютый январский мороз, колядуя по нищим и богатым дворам. Умереть в бессильной старости, в своей постели, и нету сил поднести пальцы ко лбу, чтобы наложить крестное знамение напоследок. Вот ты сейчас умрешь, Василий-нагоходец, и запросто станешь святым. Юроды, они и при жизни святые; что уж говорить о смерти!

...Господи, ну какой же он святой, так, свечка нагарная, мороз упрямо прожигает, в руках трясется, восковыми, медовыми слезами льется, огню не нужно утешение, а нужно зверю и человеку, нет, не святой, и никогда им не станет, бессильно дрожащий, вчера намоленный, а нынче настоящий, ты все небо можешь собою насквозь пронизать, а потом в землю врезаться да ее тоже проколоть самим собою, ты еси копьё, летящее копьё Господа твоего. И это сам Господь приказал тебе из Рая уйти, Он лучше знает, какова судьба тебя ждет!

Рождество, Господи! Твое! Нынче! Сегодня! Зима! Жмет мороз! Сверкают синим инеем крупные и мелкие звезды! Ягоды небесные, алмазные! А ты! Ты летишь! Ты герой. Ты солдат. Ты за Родину жизнь отдаешь.

*...Коляда, коляда!
Колесом катят года!
Святки ныне, Святки —
Колядуй без оглядки!
Ты колядуй в небесах!
Медведица на часах!
Ты небесная звезда —
Коляда... коляда...*

Самолет раскололся надвое. Как яйцо. Он всегда так раскалывался. В него всегда стреляли. И он вместе с самолетом всегда падал. И всегда разбивался. И всегда воскресал. Кто затынул времени петлю? Назови имя, Боже! Не хочешь. Тайна! Пусть будет тайна. Судьба — это тайна всегда. Коляда... коляда...

*...Ты пляши, медведь, пляши!
Дудки-скрипки хороши!
Ты пляши, пляши, народ,
Пропляши еще вперед!
Ты пляши, святой, пляши!
Ни сердечка... ни души...
Ты пляши, Господь мой Бог,
Мой младенец, одиночек...*

Рюмку бы сейчас махнуть, подумал он, стремительно падая. Экий ведь он несвятой. Кто записал его во святые? Юрод — он и есть юрод. Гонит его с площадей народ. Вот лишь одна такая безумка Ксенья нашлась, идет за ним и в боль, и в грязь. Одна в целом свете! Как дитя. Люди, будьте как дети. Юродству, люди, предела нет. Оно солнечный свет. Оно звездный свет. Оно соленая кровь Рождества. Дышит... младенец... сопит едва...

*...Погибаю я за вас.
Выполняю я приказ.
Я солдат, не генерал.
Я за счастье воевал.
Песню пел одну — про жизнь.
Так шептал себе: держись!
Не умру я никогда...
Коляда... коляда...*

...Он падал и пел. Падал и пел. Вот юродство так юродство. Нарочно не придумать. Вот — геройство! Прочь думы-похвалы. Гордыню — прочь. Земля все ближе. И мы — живые. Мы никогда не будем ничьей едой. Ничьей послушной железкой. Ничьими слугами, гнушимся в три погибели. Мы и умирая останемся самими собой.

Я не танк. Не броневик. Не телега. Не плуг. Не соха. Не грабли. Не лодка. Не зенитка. Не гаубица. Не пистолет. Не самолет.

Все это, да, есть человек, ведь человек все это изобрел и смастерил; но выше и сильнее слабый человек безумной машины его, и вперед он идет ногами живыми, и любит он сердцем живым, и плачет слезами живыми.

И если жив человек на земле, то жив и Бог. Все так просто.

Не умру я никогда...

Коляда... коляда...

Никогда... Всегда... Разве есть между ними разница? В газетах напишут: генерал со славой погиб. Какая честь мне! И орден посмертно дадут. И героем назовут. Услышу ли я сие после смерти? С небес? Из земли? И после меня красные башни веселого Кремля все так же будут стоять. И все так же в ночи, над кирпичной великой Кремлевской стеной, над островерхими башнями, над рубиновыми, кровавыми звездами будут роскошные, безумные, беспредельные, парчовые, перламутровые салюты греметь. И кресты собора Покрова Богородицы будут махать душе моей, высоко во звезд-

ном небе летящей, медными, золочеными растопыренными ладонями. Колокол! По ком звонит колокол? Молчите! Ничего не говорите! Кого хоронят?! Меня — хоронят?! Да никогда!..

Всегда...

Но, люди, любимые, я же воскресну...

И я! И Ксения моя! И пойдем по площади Красной, прекрасной, обнявшись крепко, крепче приваренного металла, завернувшись во единую медвежью шкуру! И я твой, Василий ветхий, босой! И тепло нам! И светло нам! И салют грохочет! И каждый, в Аду ли, в Раю ли... жить хочет...

...Не умру я никогда...

...Я все начну сначала.

Смерть, сие есть мое великое начало.

В толстобрюхой, в переплете телячьем, собаками и кошками обцарапанном, в заляпанной темным сладким воском Книге с вырванными, исписанными древним чернилом ломкими страницами, все написано про наш последний срок. Все громко ли, тихо спето. И я всю мою жизнь только и делал, что пел. По площадям ходил и пел! Сражался и пел! У плиты стоял в чадной, жаркой кухне и пел, пел, пел!

И Ксению мою на Красной площади в вихренье снега обнимая, я на ухо ей песню любовную, голубиную пел.

А может, та мамкина Книга Жизни, с двумя витыми свечами по бокам, у почернелого киота, была вовсе не Псалтырь, а Книга Голубиная, и вспархивали с ее страниц белые, коричневые, розовые, сизо-синие, цвета ненастного неба, голуби, и кружились вокруг меня, и улетали прочь, в распахнутое окно, в отверстые двери, в широкую и далекую жизнь, без возврата. А зачем возвращаться, жизнь — то ведь путь без возврата, жизнь, то дорога любви, ребята, жизнь, обнимайте ее, облапьте, играя, на сверкучем снегу, лисята, волчата, медвежата, собачата... и так, в жизнь играя, с жизнью играя, ей, жизни, на нежной дудке, на арфе играя, колесом докатитесь до Рая...

Видит все Всевидящее Око. Зрит любое движение наше. Любую силу и любую слабость. Радужка то беспроглядно темна, то свадебно-небесна. Око — зеркало. Отражает нас всех. Без приукрашивания. Без изъяна. Без лжи. Одну нашу правду отразит — и сунет отражение нам в лицо.

Оно отразит и нашу жизнь, до косточки, до крохи. И нашу смерть. И наше воскресение.

И наше, наше Рождество. И Святки. И лучезарные, в сугробах под созвездьями, колядки.

Око Господне! Людие, глядите в него!

Оно видит все.

И даже то, чего нет и не будет никогда.